32774.90
E49—
570

Т. Г. МАСАРИК
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

I

ОРБИС
ПРАГА

1-11 [illegible]

E44 570

Т. Г. МАСАРИК
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД Н. Ф. МЕЛЬНИКОВОЙ-ПАПОУШЕК

I

П Р А Г А

1926

ГОСУД. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 32774 1990г.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Ф 8119

LEGIOGRAFIE
Praha-Vršovice Sámova 665

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь я даю сведения о своей заграничной деятельности в течение мировой революции с 1914 по 1918 год.

Буду говорить лишь об основном. В то время было столько работы, что я не мог писать подробного дневника: я делал лишь краткие заметки, в большинстве случаев занося лишь пароли и имена. Делалось это также из опасения, что записи могут попасть во враждебные руки. Я должен был быть всегда готов к тому, что мои записки пропадут (была сделана попытка их выкрасть) и потому я не имел права компрометировать лиц, с которыми встречался. По этой причине, теперь даже мне самому мои личные записи не всегда ясны, многие детали должны были выпасть. Мои записи в России, а также и документы, несмотря на то, что были спрятаны, были потом розысканы и забраны властями(?).

Я не излагаю также содержания своих многочисленных разговоров с государственными деятелями, политиками, журналистами, историками, чиновниками и т. д.; в противном случае, я должен был бы приводить не только то, что слышал, но и то, что я выводил из разговоров, что принимал и что отвергал; было бы также необходимо характеризовать личности, а также часто обращать внимание на условия, в которых все это говорилось — книга от всего этого чрезвычайно бы разрослась.

О некоторых вещах, вообще, не буду говорить, так же, как не буду упоминать о всех лицах, с которыми я встречался и работал: во-первых, их было слишком много, а, во-вторых, я не знаю, хотят ли некоторые, чтобы о них упоминали. Таким образом, будут отсутствовать некоторые интересные подробности; но основные черты событий не будут опущены.

Полагаю, что некоторые из моих сотрудников позднее издадут и свои воспоминания и, таким образом, дополнят и исправят то, что я здесь предлагаю. Уже и теперь у меня были в руках официальные сообщения некоторых моих друзей и помощников по работе о тех событиях, свидетелем которых я не был; это сообщения д-ра Бенеша, д-ра Осуского, Штефаника, Юрия Клецанды, д-ра Сихравы. Подробные записи Штефаника, которые он мне вез, сгорели при его трагической кончине, записки Клецанды также утеряны. Очень богатым и почти полным архивом располагает д-р Бенеш; на нем будет строиться весьма обстоятельная и богатая подробностями история заграничного движения.

Сначала я хотел во втором томе собрать литературные матерьялы и документы, но ведь документы могут быть изданы и отдельно (часть моих речей и заявлений уже была издана), а так книга будет на один том короче. Ради той же краткости не привожу и литературного матерьяла.

Что касается политической программы, которую я хотел осуществить заграницей, то она изложена в книге «Новая Европа», составляющей с данными воспоминаниями неразрывное целое.

Некоторые главы, напечатанные в разных газетах и журналах, в этом издании подверглись изменениям.

I

ЗАВЕТ КОМЕНСКОГО

(Прага, 1914, август—декабрь)

1.

Со времени второй Балканской войны я был занят планом примирить сербов и болгар, ибо ожидал в ближайшем будущем новой, еще большей, войны и опасался вражды обоих народов. Поэтому я иногда вел разговоры в этом направлении с некоторыми сербами и болгарами. Во время пребывания моего хорошего знакомого серба весной 1914 г. в Праге, мы составили с ним целый план; он отправился домой и вернулся к нам с надеждой, что руководящие круги Белграда готовы на мир и на уступки.

Далее, я должен был ехать в Париж и Лондон и привлечь на нашу сторону видных политиков, которые повлияли бы на Белград и Софию, а также заручиться поддержкой английской и французской печати; в Петербург мне ездить не было нужно: достаточно было переговорить с русскими послами и влиять кроме того на Петербург через Париж и Лондон. Из Парижа я должен был ехать через Константинополь в Софию; из Белграда мне посоветовали, чтобы я не ехал через Белград, так как болгары будут относиться ко мне более доверчиво, если я приеду к ним прямо из Лондона и Парижа. Это была пре-

восходная мысль, но Сараево и австрийский ультиматум Сербии разбили весь мой миролюбивый план.

Подобная, еще более серьезная, попытка была в 1912 г. во время первой балканской войны. Я был в Белграде и, воспользовавшись этим случаем, вел с Пашичем разговор о войне и, вообще, о политическом положении. Результатом разговора было то, что на другой день Пашич позвал меня к себе и формулировал условия, на которых соглашался вести переговоры с Австрией от имени Сербии; в доказательство своей миролюбивости он хотел приехать лично в Вену и бить челом Берхтольду, дабы тем удовлетворить вечную жажду Вены знаков высокого уважения. Я должен был план Пашича изложить Берхтольду. Я все рассказал Берхтольду, но он ничего не понял и не хотел никаких мирных переговоров. Когда я позднее пожаловался некоторым политикам (Билинскому, Беренрейтеру и иным) на свою неудачу, то они были прямо убиты безрассудством австрийского министра иностранных дел и даже пытались исправить его ошибку, но, к сожалению, тщетно. У меня от этого только утвердилось мнение о поверхностности и недоброкачественности австрийской политики на Балканахъ.

Представим только себе ясно положение: сербский министр во время победоносной войны хочет мириться и подает австрийскому министру иностранных дел руку — этот же во всей своей великодержавной надутости отвергает примирение и нагромождает одну ошибку на другую, делая за все виновной австрийскую провокационную политику. Инцидент с Берхтольдом только укрепил мои ожидания новой войны; к этому взгляду меня приводили изучение истории и наблюдения над Европой. Нападение Вены на Сербию меня не удивило.

После Сараевского покушения я был с семьей в Жандове (Шандау) в Саксонии на Лабе.

Под влиянием ультиматума я был все время в страшном напряжении, но все надеялся, что войны не будет. Даже после объявления мобилизации я все еще доказывал своим знакомым, что хотят «напугать» и что руководители международной политики сойдутся и уладят спор; между мобилизацией и объявлением и осуществлением войны, казалось мне, лежит гро-

мадная пропасть. Даже объявление войны не признавал я последним словом. Меня называли безнадежным пацифистом и идеалистом; в действительности, в глубине своей души я предвидел войну еще до покушения, но я боялся окончательного решения и того, что оппозицию к Австрии и всему австрийскому влиянию теперь придется доказывать действиями.

Когда Англия объявила войну Германии (4 августа), кончилось мое самообольщение; но еще и впоследствии видел я некоторое колебание у Германии при предъявлении ультиматума Бельгии, а также и в предложении Бельгии о мирном соглашении (9 августа); во всем этом видел я признаки известного уважения к мировому общественному мнению. Но, конечно, все это было лишь напрасным вилянием, — ведь и политикам дорога своя шея.

Из Шандау, вследствие мобилизации, мы никак не могли попасть домой: железные дороги провозили солдат и рекрутов; кроме того, австро-венгерские поданные возвращались массами домой из Германии. Жизнь в Саксонии, в Дрездене и других городах дала мне возможность видеть германскую мобилизацию и сравнить ее с австрийской, наблюдаемой мною по возвращении домой (около 10 августа). У немцев был во всем гораздо больший порядок и войско было лучше и основательнее вооружено; мне было больно видеть австрийских рекрутов, особенно славян, едущих из Германии и через Германию домой: многие из них были пьяны. Во время этого первого путешествия я ближе увидел первого чешского солдата-фельдфебеля и говорил с ним. Это было недалеко от Мельника (мы ехали окружным путем из Дечина); я бросил ему несколько скептических замечаний о ходе войны. Я точно сейчас вижу его — беднягу: он посмотрел на меня широко открытыми глазами и как будто оправдывался грустными словами: «Что же мы можем делать!» Действительно, что могли, что должны были мы предпринимать? Я знал, что мы, что я должен делать; с каждым днем мне это становилось яснее.

В Праге была политическая пустыня; всякая деятельность политических партий и отдельных лиц была связана; мы, депутаты, хотя и сходились, чтобы поговорить о различных

административных затруднениях, но ясно чувствовалось, что наши души витают за пределами залы заседаний. Какая осторожность появилась у многих в разговорах о войне! Партийные недоразумения не прекращались. Депутат Калина тщетно старался добиться вмешательства парламентских вождей, когда депутат Клофач был арестован вопреки закону о неприкосновенности депутатов; распри, вызванные делом Швиги, или, по крайней мере, его последствия не были сглажены, несмотря на то, что мы стояли на роковом перепутьи. (Я не защищал Швиги, не говорил, что он невиновен: наоборот, я считал его очень виновным, но лишь утверждал, что он не был обычным шпионом на жаловании. Я видел в нем больше, чем шпиона, а именно будущее орудие Франца Фердинанда, и против этого я вел свою кампанию. Документы, найденные в полиции, подтверждают это. Я полагал, что по отношению к Вене, эта афера должна была быть закончена так же, как был ликвидирован и вопрос о Сабине. Если во время спора я был неправ по отношению к госпоже Волдановой, то прошу ее извинить меня).

Наши чешские солдаты проявляли свое антиавстрийское настроение, покидая Прагу; из армии приходили сообщения, что они волнуются и даже бунтуют; скоро мы услышали о строгих мерах военных властей и даже казнях через повешение. Солдат казнили за то, что я — депутат — проповедывал — мог ли, смел ли я делать меньше, чем простой солдат-гражданин, которого я сам же поддерживал в его антиавстрийском и славянском образе мыслей?

Тогда я начал беседовать с моими товарищами-депутатами, стараясь определить взгляды и планы различных партий. Чаще всего разговаривали мы с депутатом Швеглой у него в Гостиварже и Карловых Варах. Поочередно вел я переговоры с д-р Странским (старшим), Калиной, д-ром Гайнем, Клофачем (мы с ним сносились, как до его ареста, так и во время его пребывания в тюрьме), д-ром Соукупом и д-ром Шмералем; один или два раза пригласил я некоторых из них к себе. Хотел я завязать сношения и с депутатом Хоцем, но он проявил такой страх, что сейчас же выпал из моих планов. Из

этих разговоров я вывел заключение, что огромное большинство всех партий, с лидерами которых я вел переговоры, сохранит свое антиавстрийское направление даже в том случае, если отдельные вожди и фракции пойдут с Австрией.

Полиция и прочие учреждения сначала меня ни в чем не подозревали. Я был осторожен и не осложнял никому положения. В таких условиях важен принцип: делать как можно больше самому и как можно меньше говорить людям, чтобы в случае ареста и следствия им было бы легко отвечать. Потому-то я ничего не говорил о своих планах даже самым близким людям. Конечно, некоторые из них догадывались о том, что я предпринимаю и что означает мой отъезд за границу, но лично от меня они ничего определенного не слыхали.

2.

Я окончательно и твердо решил: оппозиция к Австрии должна стать самой настоящей — на жизнь или на смерть. К этому побуждала вся мировая конъюнктура.

Дело было лишь в том, как все начать, какую применить тактику: дома, как скоро я убедился, не была возможна ни насильственная революция, ни даже радикальная оппозиция; быть может, можно было бы устроить какую-нибудь вспышку, восстание. Но я на это не пошел бы. Может быть, в Вене, особенно Фридрих, этого и хотели. Судя по положению дел, серьезно продуманному, мы должны были уезжать заграницу и там организовывать решительную борьбу против Австрии.

Прежде всего я начал искать связей с друзьями в союзных государствах. В этом помог мне Воска, который перед войной приехал на побывку в Чехию. Воску знал я по Америке. Заручившись его обещанием хранить все в строжайшей тайне, начал я сперва с ним переговоры относительно того, чтобы земляки в Америке основали как можно больший фонд для помощи жертвам австрийских преследований на родине. От этого перешел я к политическим переговорам. Как гражданин

нейтральной Америки, Воска имел доступ во все воюющие государства; поэтому я попросил его, чтобы на обратном пути он заехал в Англию и в Лондоне передал моим друзьям известия и письма. Воска на это согласился и отправился в конце августа в Америку через Англию. Чтобы все это не бросалось в глаза, с ним поехало еще несколько земляков. Конечно, большинство сведений посылал я устно, так как в таких случаях следует как можно меньше писать; я дал лишь статистику и краткие заметки для памяти в письменном виде. Сообщения касались преследований, главным образом, выдающихся югославянских вождей, потом финансового положения Австро-Венгрии и, наконец, армии. Все сообщения были переданы немедленно по прибытии в Лондон (2 сентября 1914) мистеру Стиду, редактору иностранного отдела известной во всем мире газеты «Times», передавшим их в тот же день адресатам, между которыми было также и русское посольство. Между прочим, я просил также мистера Стида о том, чтобы в Россию было послано предложение о принятии наших военных перебежчиков, а главное, чтобы им не мешали в переходе. Русские и наших солдат считали «австрияками» и соответственно с ними обращались. Мистер Стид мое поручение исполнил через русского посла Бенкендорфа и прислал мне ответ, чтобы наши солдаты уведомляли о себе русских при помощи песни «Гей, Славяне».

Поручение было исполнено Воской прекрасно: он также немедленно наладил службу связи при помощи особых курьеров, выбранных из граждан нейтральных государств и из наших людей, живших заграницей и возвращавшихся домой. Таким образом, были установлены постоянные сношения с союзными государствами. В конце сентября привез мне вести от Стида наш земляк, живший в Англии, Косак. Сведения, которые я получил таким порядком и которые вскоре затем дополнил при встрече с моими друзьями в Голландии, были весьма важны и имели для меня большое значение.

Я узнал, что по мнению лорда Китченера война затянется надолго, по крайней мере, на 3—4 года. Этот вопрос был для меня чрезвычайно важен, так как моя заграничная работа,

ее характер и направление существенно зависели от того, будет ли война затяжной или нет.

Далее я узнал, что английские военные вожди считали судьбу Парижа заранее решенной — он должен был пасть; Англия же, несмотря ни на что, будет бороться до последнего солдата, до последнего судна. Поэтому мы должны не отчаиваться и не отступать от союзников.

Для меня было чрезвычайно важно знать, какой военный план был у тройственного союза. План этот заключался в том, что русские войска будут наступать на Силезию, Моравию и Чехию, дабы Австро-Венгрия была отрезана в стратегическом отношении от Германии. Этот план должен был быть осуществлен еще в 1914 г. Россия — узнал я впоследствии — могла бы позднее дать оружие нашим, чтобы последние могли поддерживать порядок у себя на родине.

При дальнейшем ходе событий я убедился, что союзники не отказались от плана отрезать Австрию от Германии. Над осуществлением этого плана, как будет видно, они работали до весны 1918 года при помощи самой Австрии. Мне этот план с самого начала не нравился ни с военной, ни с политической точек зрения. С военной стороны, мне думалось, он показывал некоторое недоверие к своим собственным силам, а политически он означал переговоры с Габсбургами и сохранение и даже, может быть, увеличение Австрии. Я видел в этом плане недостаток именно планомерности, и это первое известие из Лондона лишь подкрепило мои опасения касательно России.

Но прежде, чем говорить об этом важном пункте моего решения, расскажу о моих дальнейших сношениях с союзниками.

Я воспользовался приездом своей невестки из Америки и поехал проводить ее на пароход в Роттердам. Было это во второй половине сентября (12—26). Из Роттердама я написал Дени и моим друзьям Стиду и Сетон-Ватсону, чтобы они или сами приехали ко мне из Англии или послали верного человека. Не было возможности организовать все это так быстро и потому я должен был подумать об устройстве второй поездки в Голландию. Но и это первое путешествие не пропало

даром — я проехал туда и обратно через Германию и видел Голландию.

Между тем, выяснилось положение и дома, где укреплялось антиавстрийское настроение; теперь дело шло о том, как все организовать и что предпринимать. Чем дальше, тем более убеждался я во враждебных нам планах двора и военного командования. Я получал от разных лиц из армии (одним из первых, заявивших о желании служить нашему делу, был полковник Гоппе), различных учреждений, словом отовсюду сведения о том, что делается среди войска и чиновничества. К этому присоединились при помощи Махара сообщения Кованды. Махар кое-что из них уже опубликовал. Из документов, переданных мне Махаром, узнал я о враждебном настроении Фридриха и иных военных командиров, узнал о планах, направленных, как против наших, так и югославянских сокольских организаций. Очень скоро начались преследования; одним из первых подвергся им Йичинский Сокол. Мои достоверные сведения давали возможность довольно часто заранее предупреждать тех, кому грозила опасность.

В половине октября (14—29) я поехал во второй раз в Голландию. Снова проехал через всю Германию и уже дольше наблюдал Берлин; в Голландии я был не только в Роттердаме, но и в Гааге, Амстердаме и иных городах. Как и в первый раз использовал я и теперь свое пребывание в нейтральном государстве и доставал и изучал военную литературу и публицистику. На этот раз мне удалось встретиться и с друзьями. В Роттердам приехал Сетон-Ватсон; в течение двух дней осведомлял я его о положении Австрии, развивал мои взгляды на войну вообще и мировое положение в частности, как оно мне представлялось, изложил нашу национальную программу и планы дальнейшего действия, поскольку они мне были тогда уже ясны. Он был довольно сильно удивлен тем, что я так выдвигал государственно-историческую программу; в Англии тогда ожидали от нас и остальных народов Австро-Венгрии, большего подчеркивания национальной программы. Наш верный друг, сейчас же по возвращении в Лондон, составил соответственно моим указаниям меморандум, который получили со-

южные представительства в Лондоне, Париже и Петербурге. Сазонову его передал лично оксфордский проф. Виноградов, который в то время ездил в Петербург.

И с Дени удалось мне завязать письменные сношения. Между прочим, в Роттердаме встретился я и с русским доктором Кастелянским, которого знал ранее и с которым имел литературно-политические сношения. Позднее он переехал в Лондон и там нам кое в чем помогал; в Голландии он помогал д-ру Бенешу, когда мы там впоследствии организовали отдел пропаганды. Пока же я устроил сам в Голландии центр пропаганды при помощи корреспондента «Таймса».

Тогда же в Голландии получил я из Америки деньги от соотечественников; мне лично значительную сумму прислал мистер Чарльз Крейн. При помощи мистера Стида все такие передачи шли по телеграфу.

Одинокая жизнь в Голландии дала мне возможность спокойно взвесить и продумать свои будущие задачи. Воспоминания о Коменском, оживленные его могилой в Голландии, пример его пропаганды в тогдашнем политическом мире, политическое пророчество — программа «Завета», все это взятое вместе, развеяли последние остатки сомнений и колебаний. «Завет» Коменского вместе с Кралицкой библией служили мне на моем пути вокруг света ежедневным национально-политическим напоминанием...

На обратном пути из Голландии я снова задержался в Берлине и беседовал там с некоторыми выдающимися политиками и публицистами. Социалистам я сказал, что 4-го сентября они проиграли (военные кредиты были в Рейхстаге приняты единогласно) и высказал мнение, что социал-демократическая партия скоро расколется. Уже сейчас в партии было заметно беспокойство: de facto 2-го декабря военные кредиты были приняты против 1 голоса (Либкнехт), а 20 декабря уже против 20 голосов (социал-демократы). В Берлине узнал я многое о ходе войны, что укрепило меня во взгляде на вину Германии и Австрии.

Наконец, скажу, пока вкратце, что я завязал еще в Праге

при помощи Сватковского сношения с официальной Россией. Более подробно буду об этом говорить в следующей главе.

К сношениям с заграницей я причисляю и доставку газет, как германских, так и союзнических; в Праге эти газеты, в том числе и германские, были запрещены; в Вене было больше свободы, а в Дрездене и Берлине можно было читать даже английские и иные газеты. Я их доставал через знакомых и при помощи особых курьеров. Таким образом, я был осведомлен о многих подробностях, не доходивших до нашей печати.

Дома и в армии увеличивались преследования; казнь Кратохвила в Пршерове (23 ноября) прямо гнала меня прочь но все же я остался до казни Матейки (15 декабря). Я был готов уехать или скорее бежать заграницу к союзникам и дело шло лишь о том, как провести окончательный уход... Необходимо было довольно долгое время, чтобы убедиться, подозревает ли меня полиция, так как в Голландии мне казалось, что за мной следят; за все то, что я уже успел сделать, мне угрожала, несомненно, виселица, но, очевидно, власти многого обо мне не знали.

С коллегами депутатами после своей второй поездки в Голландию я говорил более подробно, так как хотел от них устного (а не письменного) согласия на ведение заграничной борьбы. Меня к этому принудило замечание Сетон-Ватсона, что заграницей политики пожелают узнать, говорю и действую ли я от своего личного имени, или от имени политических партий и каких именно.

3.

У меня возникало довольно сильное беспокойство и вследствие хода войны: кто победит? На этот вопрос в 1914 году и даже позднее не было возможности ответить с уверенностью и точностью.

С самого объявления войны занялся я изучением некоторых неизвестных еще мне работ о современной войне: дело было в том, как уже говорил выше, чтобы определить, будет ли война затяжной или нет и в зависимости от этого выяснить

наши возможности и организовать работу. Среди специалистов не существовало единомыслия по этому вопросу, в общем преобладало мнение, как у союзных, так и враждебных специалистов (напр. Фош), что современная война должна быть краткой. Известный французский публицист Леруа Больё определял длительность войны в 7 месяцев; политики, как Ганото, Баррес, ожидали скорого окончания войны, благодаря «паровому катку». Немцы, со своей стороны, предвидели скорое уничтожение французской армии, ссылаясь на пример 1870 г. Стремительное наступление на Бельгию и Люксембург на севере и на Эльзас-Лотарингию на юге, казалось, сперва поддерживало эти ожидания. Начало военных действий не было благоприятно для Франции — Париж оказался под ударом немцев, в действительной опасности, и французское правительство переехало 2 сентября в Бордо. Я желал, чтобы прав был Китченер, но с другой стороны, в зависимости от того, что я о нем слышал, я сомневался достаточно ли он компетентен в данном вопросе.

О положении вещей на фронте до моего отъезда из Праги я не мог ничего решить: особо тяжелой задачей являлась для меня битва при Марне. Я принимал взгляд французов и англичан, считавших, что немцы битву проиграли, а потому отошли на вторые линии; но одновременно французы отступили от Мозеля к Марне, и это отступление необходимо было считать поражением. Удивляло меня также, почему французы после победы не наступают. Немцы подчеркивали, что значительное количество своих войск, целых два корпуса, они перебросили с французского фронта на русский, в Восточную Пруссию, т. е., что они были на французском фронте много слабее и сражение при Марне решающего значения не имеет. Союзники имели сначала численный перевес, а потому французское отступление подействовало на меня особенно тяжело. Я был знаком с несколькими хорошими знатоками военного дела в австрийской армии, но никак не мог с ними встретиться; только заграницей я получил впоследствии сведения от военных и прочитал более подробные донесения. Потом я уже и сам убедился, что немцы, действительно, проиграли битву на Марне.

Обнадеживающее впечатление от битвы на Марне было усилено затяжным сражением у Ипра за берег канала (с 20-го октября по 11-го ноября). И в этом случае немцам не удалось провести свой план и завладеть каналом и его портами, из которых они бы могли угрожать Англии (Дюнкирхен, Калэ, Булонь). Они должны были отступить по всей линии и решиться на позиционную войну; наступление не удалось, расчеты оказались сомнительными и этим был дискредитирован весь план.

Турция (12 ноября) примкнула к Центральным Державам и Малая Азия, Египет и Балканы, благодаря этому, приобретали большое значение, как в военном, так и в политическом отношении. Что будет делать Болгария, Греция, Румыния? «Таймс» резко критиковал политику Англии по отношению к Турции (были конфискованы два крейсера, строившиеся в Англии для Турции). Благодаря тому, что Англия взяла на себя протекторат над Египтом (18 декабря), борьба за Малую Азию сильно обострилась. Война осложнялась, надо было предполагать, что она затянется. Взятие Валоны итальянцами (26 октября) лишний раз доказывало сложность положения.

О моих размышлениях по поводу войны, о моих сомнениях и надеждах читатель узнает из статьи по поводу войны, написанной в самом ее начале (в августе) для журнала «Наша Доба», где я указывал на военное, экономическое и политическое значение мирового конфликта; там я изложил волнующие меня вопросы так же, как и надежды — австрийский цензор пропустил эту статью, хотя выбросил у меня в том же номере часть моей старой статьи о Балканах и рассуждения Дени о нашем положении в «Международной лиге охраны прав народов». В этих статьях (так же, как и в заметке «Божьи ратники») уже в начале войны я изложил свою политическую программу. В следующих номерах я начал ряд статей, вернее критических поучений для мыслящих людей о задачах войны. Так же, как и в «Нашей Добе», писал я и в газете «Час».

Военные карты изучал я весьма подробно каждый день: политика теперь делалась на полях сражения и таковой она стала на долгое время; по поведению обеих сторон можно

было судить о целях войны, о силе и ловкости друзей и врагов.

Неудача Австрии в Сербии, поражение Потиорека, наконец, освобождение в декабре (13) Белграда подтверждали наши надежды на победу. Не в такой степени поддерживало их русское наступление на Краков и к путям на Словакию, так как против этого можно было противопоставить большой минус в Восточной Пруссии (Гинденбург — Танненберг, Мазурские озера). Конечно, австрийцы и немцы сильно ошибались, не дооценивая русскую армию, в особенности артиллерию, но все же то, что я знал о русском войске и его командном составе, внушало мне всяческие опасения. В то время газета «Час» печатала весьма популярные статьи о войне, особенно, о русских наступлениях и отступлениях: у нас бывали каждый день совещания и мы делали по сообщениям и положению войск свои заключения. В редакции одни были оптимистами, безграничными оптимистами, я же был сдержан, скорее скептичен; в редакции шутили, что первый, кто будет повешен при вступлении русских в Прагу, буду я... Время от времени различными замечаниями я обращал внимание на неподготовленность русских и касался критически не только способностей Сухомлинова, но и самого генералиссимуса, несмотря на его патриотические и славянские манифесты. Ведь все же я был прав! Я полагаю, что одним из лучших моих политических определений и решений было то, что я не поставил наше народное дело лишь на одну русскую карту, что я усиленно стремился обеспечить нам симпатии всех союзников и восстал против тогдашнего пассивного и некритического руссофильства.

4.

Какое было тогда у нас настроение, было видно по всему. Рассказывали, что торговки приберегают лучших гусей для русских; всем также известно, как всюду распространялся переписанный манифест Николая Николаевича и сообщение об аудиенции у царя, и как преследовали тех, у кого это находили. Приходит на память сцена на Фердинандской улице.

Меня остановил на улице знакомый, весьма радикальный редактор, и радостно показал переписанное сообщение о первой аудиенции русских чехов у царя; он был чрезвычайно разочарован, когда я вернул ему бумажку, заметив, что все это имеет весьма малое политическое значение. Ведь царь депутации не сказал ничего определенного; я допускал, что принятие депутации было успехом и имело, как было видно на редакторе, хорошее влияние для поддержания надежд.

Подобных переписанных сообщений ходило много по рукам. Говорили, что по ночам их сбрасывают русские авиаторы, но, судя по содержанию и слогу, мне казалось, что некоторые из них апокрифичны.

Австрийцы обращались с русскими пленными и с теми, кого война застала вне родины, очень сурово (хуже обращались лишь с сербами); я это видел собственными глазами, когда хлопотал об освобождении интернированного Максима Ковалевского, которого война застала в Карловых Варах, и посаженной в тюрьму журналистки Звездич.

Несколько раз виделся я с депутатом Калиной, которому уже ранее сообщал кое-что о своих заграничных сношениях. Говорил я ему об опасности, грозившей соколам со стороны австрийского генералиссимуса, и мы вместе взвешивали ту роль, какую могли бы взять на себя сокола в данный момент, особенно же при ожидаемой оккупации. Свел он меня с д-ром Шейнером.

С ним мы сговорились, что сокола, в случае русской оккупации, пошли бы в народную милицию, а, смотря по обстоятельствам и необходимости, и в национальное войско. Я не скрывал перед ним своих сомнений относительно русской армии и политики и обратил его внимание на возможность необходимости русского отступления, в случае, если бы немцы наступали через Саксонию, а австрийцы с юга и т. д. Возможность и даже вероятность того, что русские, дойдя до Моравии и даже до Чехии, должны будут потом отступать, была, судя по предыдущему опыту, велика. Требовалась большая и сознательная осторожность, чтобы избегнуть позднее жестокой мести австрийцев, которая могла бы терроризировать в будущем народ.

Доктор Шейнер сам был весной в России и убедился, что политическая связь с Россией была слаба, вернее ее вовсе не было; Сазонов его обвинял в том, что чешские политики собственно мало заботились о России и потому русские их не знают. Также откровенно он сказал, что мы не должны рассчитывать на Россию и что русская армия не готова к решительной войне. Подобным же образом высказывался Сазонов в разговоре с депутатом Клофачем немного ранее (в январе), прибавив, что великие державы войны не хотят. Но у нас об этом открыто не говорилось, а потому об этом и не знали: общественное мнение было некритически руссофильское, от русских и их казаков ожидалось освобождение.

В противовес этому я высказывал д-ру Шейнеру свои сомнения о достаточной силе русского оружия. Объяснял также, что боюсь русской династии, и даже в лице наместника, что русские, вследствие незнания местных условий и людей, вследствие своего абсолютизма и бесшабашной жизни, очень скоро уничтожат наше руссофильство.

Д-р Шейнер мне возражал, что при современных условиях русский на троне был бы наиболее популярным, и что мы должны уважать общественное мнение. Я признал справедливость этого взгляда; конечно, теперь уже не было времени учить широкие массы и рассказывать им об истинном положении России; особенно подробно и ясно я изложил это свое мнение Сетон-Ватсону, а он, в свою очередь, постарался объяснить его в своем меморандуме, поданном Сазонову. Для меня было важно, чтобы на это было обращено внимание официальной России; это было в интересах наших отношений к России. В своей заграничной пропаганде и особенно в меморандумах, передаваемых союзническим правительствам, я приводил руссофильский взгляд, как наиболее распространенный; лично я, в случае крайней необходимости, предпочел бы кандидата какой-либо из западных династий или, по крайней мере, того, кто у них пользуется влиянием.

Но сейчас же я должен оговориться, что заграницей я нигде и никогда ни о каком кандидате в короли переговоров не вел; свое мнение я высказал лишь самым близким друзьям

заграницей, чтобы в нужную минуту они были осведомлены. Различные сообщения о том, будто бы я вел переговоры с английскими и иными принцами — совершенно неправильны. Лично я был за республику, но сознавал, что в тот момент большинство было за королевство; тогдашнее поведение социал-демократии в Германии и у нас, ее отношение к династиям, склоняли к серьезным размышлениям о форме правления; убийство Жореса не менее. Конечно, вопрос о республике еще не был своевременным. Только русская революция всюду усилила республиканство; у нас было то же самое. Мне кажется, что еще русские поражения потрясли у нас веру в русскую династию на чешском троне!

С д-ром Шейнером вел я также переговоры о финансировании заграничного движения; он тотчас же предложил известную сумму для его начала. Мы думали о возможности употребления денег сокольских организаций, которые позднее, вследствие какой-то юридической трансакции, нельзя было трогать. В данный момент я должен был обратиться к американским чехам. Получил я адрес Штепины в Чикаго.

5.

О руссофильском настроении — едва ли это была политика — я должен сказать еще несколько слов; вопрос был важный и, благодаря непредусмотримому развитию событий, приобрел еще большее значение.

У наших политиков руссофильского направления, хотя и была славянская программа максимум, но довольно неясная: после русской победы (в ней никто не сомневался) создастся славянская великая держава, к России присоединятся малые славянские народы; насколько мне тогда сообщали, большинство руссофилов удовлетворялось соблазнительной аналогией со звездной системой: около России — солнца должны были вращаться планеты — славянские народы. Часть руссофилов желала некую автономию в этой русской федерации — какой-нибудь из великих князей должен был бы быть наместником

в Праге. Я занимался изучением России и отдельных славянских народов давно, собственно говоря, всю жизнь; основываясь на своем знакомстве с положением дел, я от царской России спасения не ждал, наоборот, я ждал нового издания японской войны, а потому был за энергичную заграничную работу не только в России, но и в остальных союзнических государствах, дабы мы могли заручиться симпатией и помощью всех. Я настаивал и на выезде д-ра Крамаржа заграницу, чтобы мы там могли разделить работу; но д-р Крамарж не хотел ехать заграницу (я не имел возможности лично вести переговоры с д-ром Крамаржем) и полагал, что русские сами разрешат окончательно чехословацкий вопрос. Я не мог с этим согласиться: я опасался, что Россия войны не выдержит и что вспыхнет революция; боялся я также, что у нас будет огромное духовное разочарование и упадок, если Россия не будет в состоянии нам помочь, а мы возложим на нее все надежды на спасение.

Я следил весьма внимательно за ходом дел в России, а особенно в русской армии. Последний раз я был в России в 1910 году и, как при каждой поездке в Россию, весьма основательно и из верных источников информировался о положении русской армии. Упадок и деморализация, так ужасно проявившие себя в войне с Японией, не были отстранены. Проводились реформы и армия получала новое вооружение, но особенного прогресса не было видно. Это мне подтверждали проверенные сообщения во время балканских войн и позднее, до самого объявления войны. Я не доверял русскому командному составу и разным великим князьям. Ужасный факт, что русские солдаты должны были обороняться против немцев палками и камнями — показывает все легкомыслие царской России. Австрийские великие князья в австрийской армии не уравновешивали великих князей в русской.

Кажется, в мае 1914 г. «Новое Время» напечатало статью о неподготовленности России к войне, в том же духе, как говорил с нашими Сазонов. Чешская пресса обратила на это внимание, но скоро все об этом забыли и ожидали чудесной и скорой победы России. К оправданию наших оптимистов нужно указать на подобных же оптимистов и у союзников.

Я хорошо понимал, что наше общество было в восторге от официальных заявлений России; в них говорилось о славянах и о братстве, а нашему общественному мнению, не воспитанному ни для реальной, ни для мировой политики (благодаря войне и для нас она настала) этого было вполне достаточно. Я внимательно читал все эти заявления. В русском манифесте о войне (2-го августа) говорится о славянах, родственных по крови и вере. Славянами и братьями для официальной России уже давно были балканские православные славяне. Царь (9 августа) снова говорит членам Думы о единоверных братьях, а потому дальнейшая фраза: «полное и нераздельное единение славян с Россией» не была для меня точной и ясной программой, не говоря уже о том, можно ли так тесно слить с Россией поляков, болгар, сербов, хорватов, словинцев и нас. На военном торжестве в Москве (18 августа) представитель дворянства назвал войну защитой славянства против пангерманизма, а царь на это ответил, что дело идет о защите России и славянства, не упомянув в этом случае о вере; но это само собой подразумевалось.

Сазонов, как министр иностранных дел, заявил Думе, что историческая задача России заключается в протекторате над балканскими народами (также и не славянскими); воля Австрии и Германии не может быть законом для Европы.

Прекрасный был манифест к полякам (15 августа), и сами поляки приняли его с волнением и благодарностью. Позднее я узнал, что его писал Сазонов. Меня немного удивляло то, что хотя манифест был дан от имени царя, но подписан был лишь Николаем Николаевичем, точно так же, как австрийский император говорил с поляками устами своего генералиссимуса. Очень скоро между поляками и русскими возобновилась старая вражда и не только по вине поляков. Царская Россия показывала шаг за шагом, что думает всерьез не о независимости Польши, а лишь об автономии; в конце концов Трепов это ясно заявил, а царь за ним повторил.

Военные манифесты Николая Николаевича мне не нравились, они были пышными и неясными: особенно его мани-

фест к народам Австро-Венгрии. Скоро этот манифест начал ходить по рукам в различных вариациях: он был издан на девяти языках и особенно словацкий текст отличался от чешского и иных, в нем было особое и непосредственное обращение к словакам. Ходил по рукам также особый манифест к чешскому народу, но он мне казался подделкой, вышедшей из рук или наших людей или австрийской полиции: в русских собраниях документов и в газетах я его не нашел.

В речах депутатов в Думе говорилось о славянах очень мало: польский представитель говорил о славянах лишь затем, чтобы не говорить о русских. Милюков упомянул о борьбе против перевеса германцев над Европой и славянством.

Из всех этих официальных заявлений не мог я получить об официальной России иного мнения, чем то, какое имел ранее, благодаря своим изучениям и наблюдениям.

У нас сильно подымали настроение сообщения о «Дружине» в России и о царском обращении к нашим соотечественникам. Подробности не были известны, да и вообще серьезно не взвешивались русское и международное положение. Политическое давление со стороны Австрии и усталость от бессильного шатания перед венской тюремной решеткой усиливали то некритическое руссофильство, которое ожидало спасения от великой России и убеждало, что для этого даже не нужно активного сопротивления («Русские с нами» и т. д.).

Примером того, насколько неясно русская печать писала о славянском вопросе, может служить «Русское Слово», доступное нам, благодаря цитате в киевском «Чехословане». «Русское Слово» комментирует обращение Николая Николаевича к австрийским народам следующим образом: «Настает великий момент. Разноплеменные народы Австро-Венгрии призваны к новой жизни. Босния, Герцеговина, Далмация и Хорватия сольются с Сербией, Седмиградия (Трансильвания) и южная Буковина с Румынией, Истрия и южный Тироль с Италией. Более сложен вопрос о судьбе чехов-словенов, венгров и австрийских немцев. Нельзя ничего возразить против немецкой Австрии в ее этнографических границах, но недопустимо,

чтобы этот немецкий край был присоединен к Германии, так как, таким образом, Германия вышла бы из войны более сильной, чем до нее. Независимая Австрия должна отделять Германию от Ближнего Востока. На пути к созданию независимого чешского государства лежит вопрос о выходе к морю, вопрос, который невозможно разрешить в этнографических и исторических границах чешской народности. Венгрия получит самостоятельность и роковая ошибка 1849 года будет исправлена. При том, однако, Венгрия должна быть ограничена лишь территорией с венгерским населением».

Мне кажется, что статью русской газеты нет надобности объяснять — она полна неясности и туманности, главным образом, в вопросах о судьбах нашего народа и Австрии, которая должна была отделить Германию от «Ближнего Востока»; пусть только читатель посмотрит на карту, представит себе подобную Австрию, и он убедится в русских неясностях в польском и чешском вопросах. То же самое можно сказать о словинцах и т. д. Более точна лишь сербская и румынская программы.

Мое критическое отношение к России было, конечно, обоснованным и единственно верным. Но теперь было уже поздно критиковать открыто Россию и вводить в колею наших руссофилов. Кроме того, взбудораженные войной, они не поняли бы моей критики, как не понимали ее и перед войной. Большинство людей до сих пор не понимает, что подразумевал Неруда под сознательной любовью. В данном случае, я мог спокойно сказать, что любил Россию, т. е. русский народ не менее, чем наши руссофилы, но любовь не может и не должна одурманивать разум. Больше того, участие в войне и революции требует хладнокровия и ясности мысли: войны и революции не делаются лишь фантазией и восторгом, чувством и инстинктом, во всяком случае, только ими они не выигрываются. Я следовал завету Гавличка, который нам впервые указал Россию такой, какой она есть в действительности, и ничто никогда не могло меня от этого отвратить. И я ясно сознавал, когда и в какой мере демократический политик, — особенно демократический политик, может и должен руководствоваться мнением большинства и даже всеобщим мнением.

Россия, особенно официальная Россия, а именно от этой России и зависели решения во время войны, имела свою особую славянскую проблему: стремление овладеть Константинополем. Стремление это с давних пор усиленное и освященное религиозным вопросом, сталкивалось с противодействием Австрии, которая, следуя за Римом и за пангерманской идеей, также протискивалась на Балканы. Малые балканские народы были одинаково средством к достижению цели как для России, так и для Австрии. В религиозном отношении здесь сталкивались католическая австрийская династия и православная русская; Австрия и Россия боролись за преобладание и влияние в Сербии, Румынии и Болгарии. Эти земли находились в соседстве у обоих соперников, были им близки и по своему историческому развитию, а потому о них шла речь в первую очередь.

Политический и религиозный антагонизм сделали из России и Австрии давних соперников также и на севере, в Галиции и Польше.

Вот в чем заключался, по существу, весь славянский вопрос для официальной России, причем судьбы славянства, как таковые, были издавна подчинены политическим и культурно-церковным планам.

Славянство в смысле национальном и еще более широком — как всеславянство — в России представляли себе лишь некоторые слависты, историки и часть интеллигенции; но и они подходили к нему со своей русской, особой религиозной точки зрения. Поэтому для русских наш чешский, хорватский и словенский вопросы были менее жгучими. Русский народ знал лишь кое-что о православных братьях на Балканах.

Радикальная часть интеллигенции, особенно социалисты, будучи настроены антиправительственно, были и против официального русского национализма и славянофильства, а также не сочувствовали нашим национальным усилиям. Все это мы сами пережили и испытали позднее в России во время войны.

Такова была и есть российская действительность. У нас эту действительность не знали в достаточной степени; большинство наших руссофилов жило смутными представлениями о

России; Россия была для них великой и могущественной, а так как нам была необходима в борьбе против Австрии и Германии чужая помощь, — великая, братская Россия должна была нас спасти. Понятная психология и политика — уже Коллар указывал, почему идея славянской солидарности возникла в маленькой Словакии.

6.

У нас будет еще случай позднее поговорить о России и о нашем отношении к ней. В начале войны задача сводилась к тому, чтобы критически взвесить плюсы и минусы обеих сторон и принять решение. Я рассуждал: у Германии имеется хорошая и большая армия, определенный план (пангерманизма), за которым стоит весь народ, а не только интеллигенция, она хорошо подготовлена, у нее талантливые военачальники (этот взгляд я скоро изменил), она богата и обладает сильной промышленностью (военной); зато австрийское войско и командный состав слабы; всевозможные великие князья, невыносимый Фридрих, конкуренция с Берлином и германским командным составом — все это минусы. Я знал, что в Вене было два течения: одно за единый командный состав, другое за самостоятельный. Я сомневался в Конраде и иных прочих. Я ожидал, что Вена, в конце концов, подчинится Берлину и будет его слушаться, но сделает это неохотно; должен был сказаться и сепаратизм Венгрии. Центральные державы, несмотря на близкое соседство, не будут, таким образом, обладать политическим и военным единством. В австрийской армии нельзя будет положиться на нас и итальянцев, пожалуй, на румын и сербов.

У союзников перевес в людях; все вместе (уже в 1914 г.) они имеют больше солдат, чем противники, кроме того, они богаче, их промышленность сильнее. Конечно, по-настоящему обученное, значительное войско имеется лишь у Франции, отчасти у России. Но Россия, вообще, ненадежна в военном, политическом, экономическом и финансовом отношениях. Англия лишь теперь должна создавать и обучать свою армию. У Сербии прекрасные солдаты, но их мало и им будут мешать

турки (Турция объявила союзникам войну 12 ноября). Италия останется, по крайней мере, нейтральной, Румыния тоже, несмотря на то, что король стоит бесспорно за Германию (Италия постановила быть нейтральной 31 июля, а Румыния 3 августа). Сильно будет вредить географическая, политическая и военная разобщенность и происходящая из-за этого невозможность проводить цельный план и объединить отдельные выступления. Пути сообщения на востоке не благоприятствуют русским, но битвы у Марны и Ипра много обещают. Союзники настроены решительно против Германии, но менее против Австрии, в этом заключается невыгода. Вывод: победа союзников возможна, но для нее требуется напряжение всех их сил. То обстоятельство, что немецкий план — раздавить быстро Францию, а Россию, по крайней мере, парализовать — не удался, подавало нам надежду на победу. Для нас будет выгодно, если война затянется, ибо мы сможем развить революционную пропаганду.

Настроение в Праге и во всей Чехии в декабре 1914 г., когда я собирался заграницу, вообще, было довольно тяжелое. Чувствовалась неопределенность по отношению к России и союзникам; сомнения прокрадывались и в собственные ряды. Мобилизация, как заявляла Вена и похвалялся Берлин, прошла гладко: все народы сомкнулись вокруг трона. Мы-то знали, что это неправда; в Праге и еще кое-где устраивались верноподданнические маскарады, но настроение вообще было антиавстрийское. Были слабые и нечестные люди, но сознательный протест многих отдельных лиц в войске и настроение масс, поскольку я знал и определял положение, давали основание для организации активного протеста. Народ, особенно же интеллигенция, были воспитаны в австрийских симпатиях: Австрия будто бы нам необходима, как охрана от германского нашествия. Можно было даже опасаться, что найдутся и среди вождей лица, которые открыто и убежденно выступят бок о-бок с Австрией. Однако, большинство народа было настроено решительно антиавстрийски. Только бы не покинули меня депутаты, говорил я сам себе; написанные под давлением полиции статьи и предательство некоторых лиц не повредят. Следовательно, с Божией помощью, за работу! А если Герма-

ния и Австрия как-нибудь победят или результат войны не будет решительным — останусь заграницей и буду продолжать революционную оппозицию против Австрии для будущего.

Из наших иностранных колоний, сначала французской и американской, потом английской и русской доходили известия о антиавстрийских выступлениях чехов. В Париже уже 27-го июля наши сорвали флаг с австрийского посольства, а 29 постановили, что идут добровольцами во французскую армию; в Чикаго была устроена 27-го июля манифестация против Австро-Венгрии, в Лондоне она состоялась 3-го августа. После Парижа и русская колония представила правительству план организации русских легионов; члены чешской колонии во Франции были приняты в иностранные легионы 20 августа, в тот же день представители чешской колонии в России были приняты царем, а чешская дружина была организована 28-го августа. Из России прибыли гонцы, осведомившие нас о том, что наши там устраивают. Все это соответствовало нашей национальной программе и настроению... Начинать, начинать...

Бывали у нас с проф. Колоушком частые и подробные разговоры об экономической и финансовой основе чешского государства (соединенного со Словакией). Во время нашей пропаганды, я это знал, мы должны будем убеждать и цифрами, и необходимо было набросать как можно более ясную картину будущего государства. Сговорились мы с проф. Колоушкем, что он сам будет писать статьи о наших финансах, а также постарается достать и от других лиц; я сам поместил статью в сентябрьском номере «Нашей Добы».

Моя политическая программа состояла в объединении всех чешских стремлений, как они были формулированы в соответствии с государственным, историческим и естественным правом; я постоянно думал о присоединении Словакии; по своему происхождению я словак и мораван. Я знал довольно хорошо Словакию и определил сам границы ее с Венгрией: для верности просил я д-ра Антонина Гайна, чтобы один из его знакомых, кажется, офицер, начертил мне границы Словакии на юге. С этим планом и с перечнем главных пограничных городов поехал я заграницу.

7.

Я хочу здесь же сказать еще несколько слов о плане коридора между Югославией и нами. Это не был мой план, но многие, как наши, так и югославяне, увлекались им. Узкий коридор в 200 килом. длиной, отделяющий Венгрию от Австрии и изолирующий вполне венгров, казался мне неосуществимым. Если не ошибаюсь, в Загребе этот вопрос поднял д-р Лоркович, вызванный мной в Прагу.

Перед отъездом я хотел быть хорошо осведомлен о положении в Хорватии. Я опасался, что снова могут возникнуть между хорватами и сербами старые недоразумения, так как Вена и Будапешт будут их усиленно раздувать. Из доклада д-ра Лорковича я убедился, что в Хорватии есть немало людей, мечтающих о самостоятельном государстве, республике или королевстве, с иностранной (английской) династией во главе. Хорватия должна была соединиться с Далмацией, Истрией и Каринтией; вопрос о Боснии и Словении оставался открытым. Я, со своей стороны (Италия тогда была нейтральна), стоял за самое тесное как географическое, так и политическое единение югославян. Триест я себе представлял, как свободный город, вроде Гамбурга. Более подробный план в тогдашнем положении не был возможен. Д-ру Лорковичу я сообщил о своих намерениях и просил его осторожно предупредить моих югославянских друзей. Я ожидал увидеть их заграницей и непосредственно начать вместе с ними работать.

С д-ром Лорковичем мы еще встретились в Вене, когда я уезжал в Италию; он мне принес карту и статистику хорватских колоний на территории предполагаемого коридора.

О положении среди словинцев и их планах я говорил с редактором Крамером; то, чего я ожидал, подтвердил мне и д-р Крамер, а именно, что передовые словинцы стоят за единение всех трех ветвей единого народа.

8.

Перед отъездом мне хотелось еще разок основательно взглянуть на Австрию и на эту самую Вену.

Влез я прямо в львиный ров. В Праге поговаривали, что у губернатора Туна есть присланный из Вены список лиц, подлежащих аресту, и что в этом списке значусь и я.

И вот, после своей первой поездки в Голландию, пошел я прежде всего к Туну, имея для этого тоже повод в связи с конфискацией «Нашей Добы» и вечным давлением на «Час». Тун был приличный человек, и с ним можно было говорить довольно откровенно. На этот раз он показался мне более холодным, чем обычно, и даже не подал мне руки. Он ввел меня в комнату около приемного зала, и мне показалось, что за портьерой кто-то записывает все мои слова. Мне хотелось вдолбить ему несколько мыслей. Прежде всего, что австрийское правительство во время недавней Балканской войны разрешило делать нам сборы в пользу сербов и болгар — как же можно ожидать, чтобы наши солдаты так скоро об этом забыли? Что касается руссофильства — то верно, что мы руссофилы, но это вовсе не означает, что мы обожаем царя и его режим; во всяком случае, Вена должна проявить немного политического такта по отношению к нашим солдатам. Сказал я ему, что раненые, возвращающиеся с русского фронта, жаловались на недостаточный уход и лечение в полевых лазаретах; еще сказал я ему, что военные доктора и к тому же немцы, обращали мое внимание еще перед войной на недостаточность медицинской помощи. Военные власти руководятся в этом отношении взглядами эрцгерцога Франца Фердинанда, который считает всех военных докторов атеистами и евреями. Повторил я ему то, что рассказывали мне военные доктора уже во время войны, т. е. что военная медицинская администрация не позаботилась обновить аптеки, что лекарства стары и не действуют, что не хватает хирургических инструментов, а о рентгенование и не снилось. Рассказал я ему о перипетиях командира полка в Галиче (венгерца) и о его опасениях, переданных мне. Таким образом, рассказал я губернатору довольно много, между прочим, и свои личные наблюдения в Германии и Голландии. Благодаря постоянному подчеркиванию некоторых впечатлений, он мог догадаться, что как раз этого не хватает в Австрии. Политически, я сделал следующее резюме: Австрия, если бы в Вене могли быть менее пристрастны, должна была бы лишь

радоваться, что чехи не хотят видеть ее под постоянным контролем Германии. Я дал ему несколько доказательств невозможной античешской и антиславянской деятельности немецких офицеров при австрийском генеральном штабе и в войске (немецкие песенники и т. д.).

Благодаря сообщениям Кованды мог я пустить шпильку относительно отношений к Соколу, цензуры и т. п. Наместник, был, повидимому, удивлен и даже поражен. Полагаю, что не ошибусь, если скажу, что в глубине души он со многим должен был согласиться; при прощании он благодарил меня за посещение и несколько раз повторил, что его чрезвычайно заинтересовали мои выводы. Руки мне снова не подал, но во время разговора он заметил, что лично против меня он ничего не предпринял. Основываясь на этом, я решил, что мне удастся без особых затруднений выехать в третий раз заграницу. Кроме того, я обратился к нему с одной конкретной просьбой: передать немецким евреям, чтобы они были умереннее в своем австрофильстве. В Праге было значительное отвращение к немецким евреям, ходили слухи о погроме немецких редакций и тому подобное; лично я говорил о том же с разумными немецкими евреями. Я опасался, что еврейские погромы произвели бы скверное впечатление заграницей и затруднили бы мою деятельность. Тун обещал, что примет меры.

Через несколько дней я снова написал Туну и обратил его внимание на некоторые явления. У меня были также тактические цели — не показывать перед скорым отъездом своих намерений и вести себя самым невинным образом.

Чтобы еще раз проверить свое отрицательное отношение к Австрии, поехал я в Вену переговорить с некоторыми политическими деятелями.

Отправился я, между прочим, к Керберу, с которым беседовал часто довольно откровенно; на этот раз мы говорили более двух часов, подробно разобрали положение. Я расспрашивал о некоторых лицах, главным образом, из придворных кругов. Формулировал я свой главный вопрос следующим образом: способна ли Вена на необходимые реформы в случае победы? Кербер, по глубоком размышлении и разборе лиц,

ответил определенно: нет. Победа усилит старый режим, а новый (Карл) не будет ни в чем лучше; после победоносной войны решающий голос приобретут военные, а они будут централизовать и германизировать, создавая абсолютизм с парламентским украшением. А что Берлин, спросил я, не будет ли он настолько разумен, чтобы толкнуть своего союзника на реформы? Едва ли, последовал ответ.

Если бы у меня было больше места, я бы мог привести из рассказа Кербера о дворе и близких ему сферах множество прямо анекдотических примеров бездарности и нравственного вырождения, но думаю, что это лишнее, так как мемуары Кербера наверно не потеряны. Кербер не смотрел на династию, на Вену и Австрию так, как я, не судил о них с нравственной точки зрения, но тем убедительнее были его политические характеристики.

Нашел я также некоторых своих немецких знакомых по парламенту; они лишь подтвердили мне то, что ранее сказал мне Кербер и что я сам ожидал. В виду серьезности вопроса, я однако, хотел слышать то, что сами немцы говорят об Австрии. Из этих разговоров мне прежде всего стало ясно, что военные круги настроили против нас и мирных немцев. Намекали мне, что будут преследования; сообщали и об административных и политических планах (после победы), о которых говорил и Кербер. Между прочим, для меня выяснилось, что у д-ра Крамаржа будут неприятности: его русская политика была для политически неграмотного Фридриха бельмом на глазу; панславизм всех оттенков являлся для Вены и Будапешта пугалом. Я предупредил об этом близких знакомых д-ра Крамаржа.

После посещения Вены моя задача сводилась к подготовке и устройству моего отъезда заграницу.

9.

Уже в самом начале этих воспоминаний я должен упомянуть о д-ре Бенеше.

До войны я его лично знал мало; зато следил за его парижскими статьями и за всеми его печатными произведениями.

Слышал я о нем особенно много от покойного редактора Крыстынка (в «Часе»). Я замечал, что на нем отражается влияние моего реализма, французского позитивизма и марксизма. Он еще не выкристаллизовался. После объявления войны он пришел и заявил мне, что будет добровольно работать в «Часе». Теперь мы видались чаще. Как-то раз он зашел ко мне на квартиру перед ежедневным заседанием в «Часе», — очевидно у него было важное дело. Действительно, так и было: он высказался в том смысле, что мы не можем относиться к войне пассивно, а должны что-то предпринять. Он не мог оставаться спокойным и жаждал дела. На это я ему ответил: «Да, я вот уже действую!» Я кое-что ему сообщил, и мы сговорились по дороге в «Час», через Летну. Вспоминаю сцену, когда мы дошли до спуска с моста «Елизаветы»; я остановился, оперся на деревянные перила и смотрел на Прагу — мысли о нашей будущности, о пророчестве Либуши теснились у меня в голове. Но основой для политической деятельности были ведь деньги. Д-р Бенеш оценил свое имущество и тут же обещал несколько тысяч крон. У него было столько, что он мог на свой счет начать работу заграницей, мог там жить на свои средства, что в скорости и сделал. Мне мои американские друзья прислали достаточные суммы для меня и семьи; они и позднее не забывали нас. Таким образом, я и Бенеш были лично обеспечены.

Мы обсудили положение в Чехии, в Австрии, в Германии и у союзников, словом, все, что мы должны были тогда предвидеть. Наметили план действий, договорились о помощниках и работниках, как на родине, так и заграницей. Д-р Бенеш должен был как можно дольше оставаться в Чехии; переписка со мной должна была быть организована по способу, применявшемуся в русском подполье. Мои познания в этой области много помогли; кроме того, мы многое еще изобрели сами и довольно удачно, как я в этом убедился впоследствии. Д-р Бенеш, прежде чем совсем уехать из Праги, был у меня лично в Швейцарии два раза, в феврале и апреле 1915 г.

Совместная работа с д-ром Бенешом была легка и продуктивна. Не нужно было много говорить; политически и исторически он был так образован, что достаточно было одного

слова, чтобы быть им понятым. Планы в деталях разрабатывал он сам и по ним действовал; очень скоро он начал действовать на свой страх и при том очень удачно. До тех пор, пока я был на Западе, мы часто виделись и все подробно обсуждали вместе. Переписка, посредством писем и телеграмм, была у нас оживленная. Позднее из России, Японии и Америки я не мог уже так часто ни писать, ни телеграфировать ему; мы думали и работали параллельно. По мере того, как развивались события, д-р Бенеш рос; хотя и будучи связан выработанной совместно программой, он действовал при осуществлении главных задач самостоятельно. Он обладал значительной инициативой и огромной работоспособностью. Для нас обоих было большим преимуществом, что мы обладали так называемым горьким житейским опытом: мы оба пробились своим трудом из нужды, а это значит, что у нас была практичность, энергия, отвага. То же самое можно сказать и о Штефанике, о котором буду говорить ниже. Я был вдвое старше и опытнее Бенеша и Штефаника, — естественно, что я стал руководителем; но это определялось также объединяющей силой нашей общей идеи и взаимным пониманием. Они оба очень скоро убедились, что мое знание людей, как на родине, так и заграницей, может облегчить успешное руководство.

За все время моего пребывания заграницей не возникло между нами ни одного недоразумения; солидарность была редкостная. Нас было немного, но ведь и апостолов не был легион: ясная голова, знание дела, решительность, отвага перед лицом смерти — все это огромные творческие силы. Скоро вокруг нас собрались верные соратники — нас связало дело.

Мы поддерживали также связь с несколькими выдающимися людьми в самой Чехии. Некоторых из них я пригласил на совещание к д-ру Боучку. Для меня было важно, чтобы, помимо депутатов, о деле были информированы и иные люди, менее подозрительные для полиции. Насколько припоминаю, были там: д-р Боучек, д-р Веселый, архитектор Пфеферман, ред. Душек, ред. Гербен, издатель Дубский, д-р Шамал и, конечно, Бенеш. Так возникла «Маффия», которой руководили вначале д-р Бенеш, д-р Шамал и д-р Рашин. После ареста

д-ра Рашина и отъезда д-ра Бенеша заграницу, руководство перешло к Шамалу и иным. И всюду были прекрасные и храбрые люди, как в этом мы убедились на примере наших солдат.

10.

В чем же заключалась наша задача после объявления войны? Коротко говоря, в следующем: понять данную европейскую ситуацию, определить силы обеих воюющих сторон, выяснить, руководствуясь уроками истории, в какую сторону направлено развитие событий, принять решение и потом действовать. Действовать!

Исходя в своих политических взглядах из учения Палацкого и Гавличка, я долгое время, как и многие наши политики, искал аргументов в пользу нашей австрийской ориентации: мучил меня, как и наших вождей возрождения, вопрос о самом народе. Этот вопрос встал передо мной еще в связи с моими работами над выработкой чешской национальной и политической программы; но внимательный читатель этих моих работ должен заметить, что я, как и остальные наши политики, рано начал колебаться между лояльностью и протестом против Австрии и вследствие этого постоянно размышлял о проблеме революции. В работе о национальной идее чешского народа у Палацкого я констатировал основное противоречие между чешской и габсбургско-австрийской идеями: уже ранее высказал я, возражая Палацкому, убеждение, что завоевание нами самостоятельности зависит от усиления и в Европе демократии и социальных тенденций; в течение последующих лет (точнее, начиная с 1907 г.), благодаря более близкому знакомству с династией и Австрией, я перешел в оппозицию. Династия, всемогущая в Вене и в Австрии, вырождалась духовно и физически; Австрия была для меня также вопросом нравственным. В этом я расходился с младочешской партией, а позднее с радикалами — я Австрию и династию судил не только с политической, но и с моральной точки зрения. В этом разнилось и мое понимание, так называемой, позитивной политики, я был

ra участие в правительстве, но свое положение там я использовал бы не только для реформы писаной конституции, но и всей административной практики в чешском духе. Я всегда стоял, как я это называл, за культурную политику, за истинную демократию; для меня было недостаточно только депутатской узкой политики. Я говорил о «неполитической политике».

Из-за этих взглядов у меня было много споров. Я не буду защищаться и не буду говорить, что мои противники меня недостаточно понимали — признаюсь, что вначале я сам не был достаточно ясен и последователен и делал тактические ошибки, много ошибок. Зато мои противники делали ошибку, вызывавшую особенный отпор, заявляя, что они лучшие из чехов, и что, говоря как Гавличек, они делают патриотическое дело, — в то время, как спор шел о цели и содержании понятий чеха и патриотизма. Любовь к народу и отечеству уже должна была подразумеваться, и дело шло о программе этой любви. Я был для своих противников слишком социалистичен, главным же образом, их либерализм не мог вынести моей религиозной программы; я, со своей стороны, не мог согласиться с их немецкой, русской и славянской политикой. Для меня, еще будучи в Австрии, в первую очередь стоял вопрос избавиться от Австрии; что касается подданства чужому государству, то, при современном мировом положении, это было для меня второстепенным вопросом. Я ощущал свою борьбу, как отвращение к политической и культурной замкнутости, отсталости, пошехонству; я вел бой на двух фронтах — против Вены и против Праги. Радикализм и его тактика казались мне более поддразниванием, чем действительной борьбой. Когда пробил час и мировое положение изменилось, а судьба нас толкала к решению, то не мои прежние противники приняли решения и не они претворили их в необходимое действие. Осуждение Австрии естественно толкало к изучению и наблюдению над Германией; история учила меня, что Австрия, несмотря на всю разницу между нею и Германией, была слита с последней. У меня было своего рода уважение к немцам, особенно, к пруссакам; но со всем прусским, бисмарковским и самим Бисмарком я расходился принципиально. Во внешней и внутренней политике

под его руководством расцвел режим крови и железа. На меня произвело большое впечатление, как в 1866 г. Бисмарк ловко удовлетворился тем, что вытолкнул Австрию из Германии, но не желал подчинить себе Вены, дабы, таким образом, теснее привязать ее к Германии. Ошибка была лишь в том, что он все же слишком полагался на Австро-Венгрию, которую, особенно, в лице Вены, в глубине души презирал. В 1870—71 годах Бисмарк уже не придерживался тактики 1866 года, аннексия Эльзаса и Лотарингии была ошибкой, несмотря на то, что политика Наполеона III была безрассудна. Наблюдал я и то, как позднее Бисмарк колебался между Россией и Англией. Муж крови и железа хранил в душе еще слишком много старого маккиавелизма.

Новый курс можно было назвать более, чем колеблющимся. В области политики и дипломатии он страдал близорукостью и вследствие своей неопределенности и странной импровизации, казался всем шатким; колониальная и морская политика были чрезмерны, император Вильгельм настраивал против себя не только Англию, но и Россию и отличался, вообще, недостатком психологического такта — не понимал ни людей, ни народов. Слишком абсолютистский Бисмарк ожидал от людей более покорности, чем истинного соглашения. При этом Вильгельм слишком односторонне связывал себя с Веной. Его режим стал очень скоро полной противоположностью старо-прусской прямолинейности. Но имперские стремления и мировой империализм, благодаря союзу с возрастающим капитализмом выскочек, стали очень скоро нелепыми и морально сомнительными. И университеты подпали под это влияние. Философия и политика пангерманизма должны были для мыслящих людей служить роковым напоминанием, но так не случилось... Командный состав армии и сама армия (офицерство) были без исключения пангерманизованы. Я постоянно обращал внимание на пангерманизм и призывал к изучению новой мировой политики и к тому, чтобы и наша политика была шире. Отвращение к пангерманизму, которому служили Вена и Будапешт, диктовало мне вмешательство в югославянский процесс и в мировую войну.

Не нужно, конечно, и говорить, что мировую войну я не считал войной германцев со славянами, несмотря на то, что ненависть Австрии к Сербии была поводом, а частично и причиной войны. То, что Бетман-Гольвег и император Вильгельм, Вена и Будапешт обвиняли в войне Россию и панславизм, принуждало к осторожному принятию этой немецкой теории; немецкие профессора (Лампрехт, Готхейн и др.) не могли меня в этом убедить. Я видел в войне гораздо большее. В исторической перспективе мне пангерманский империализм представлялся продолжением старого и затяжного римско-греческого антагонизма, вражды Запада и Востока, Европы и Азии, позднее Рима и Византии; антагонизм этот не только национальный, но и культурный. Пангерманизм и его Берлин-Багдад придал унаследованной Римской империи узкий национальный и шовинистический характер; обе империи — германская и австрийская, возникшие из римско-средневековой империи, соединились для порабощения старого мира. Друг против друга стояли не только германцы и славяне, но и германцы и Запад, культура германская и западная, Запад, включающий в себя также и Америку. На стороне немцев были венгры и турки (болгары уже не имеют такого значения); немцам было важно покорить Европу, Азию, Африку, словом, старый свет; против этого восстал остальной мир; и впервые Новый Свет — Америка — пришел на помощь негерманской Европе для отражения немецкого нападения. Сначала Америка была нейтральной, но ее симпатии были на стороне Франции и союзников, и им она сейчас же начала помогать подвозом сырья и оружия. Никто, конечно, не мог знать сначала, что Америка под конец примет участие в войне и будет способствовать ее разрешению. Союз всех народов под главенством Запада служит доказательством, что война не имела исключительно национального характера — это была первая замечательная попытка объединения целого мира, всего человечества. Национальные несогласия были подчинены культурной идее и служили ей. Конечно, интересы скрещивались самым необычайным образом. Обо всем этом я высказал свое мнение в «Новой Европе». Не буду повторяться.

Наше место определялось всей нашей историей. Оно было на антинемецкой стороне. Анализируя европейское положение, определяя возможное развитие войны, я решился на активное сопротивление Австрии, в уверенности, что победят союзники, что наша к ним приверженность принесет нам свободу.

Решение не было для меня легким — дело шло, как я чувствовал и знал, о решении судьбы народа; но для меня было ясно, что в столь великую эпоху мы не можем оставаться пассивными: и самые лучшие права должны быть добыты деятельными людьми, иначе они остаются лишь на бумаге. Если мы не можем восстать против Австрии на родине, то мы должны это сделать заграницей. Там будет нашей главной задачей завоевать симпатии к нам и нашей национальной программе, завязать сношения с политиками, государственными деятелями и союзническими правительствами, организовать единое выступление всех наших колоний заграницей, а, главным образом, организовать из пленных войско. Военная программа была мне ясна с самого начала, как это доказывает мое первое поручение Воске в Лондон. С самого начала боев в Галиции (с 10 августа) русские взяли в плен значительное количество австрийских солдат; в половине сентября, по моим расчетам, там должно было быть около 80.000 человек. Уже среди них должно было быть не менее 12.000—15.000 чехов, которые бы могли записаться в дружину, а число пленных все росло, а с ними и количество наших будущих солдат. План формировать войско заграницей был настолько естественным, что наши колонии начали его всюду одновременно осуществлять.

Наконец, было необходимо, чтобы иностранная организация была в связи с родиной; само собой случилось так, что уже одно существование заграничного организационного руководительства оказывало возбуждающее влияние на родине. Все это, конечно, могло требовать все больших и больших жертв — но свободу нельзя добыть без жертв.

Мне, конечно, не приходится говорить, что при всех решениях по вопросу о восстании против Австро-Венгрии в глубине души у меня звучали вопросы: готовы ли мы к действиям, созрели ли мы для свободы, для самоуправления и сохране-

ния самостоятельного государства, состоящего из чешских земель Словакии и многих национальных меньшинств? Достаточно ли у нас настолько политически зрелых людей, которые бы поняли действительный смысл войны и задачу народа в ней? Угадаем ли мы решающий исторический миг? Сумеем ли мы на самом деле действовать — снова действовать? Загладим навсегда Белую Гору? Преодолеем в себе Австрию и ее столетнее воспитание?

«Верю и я, Господи, что пронесется вихрь гнева твоего и вернется к тебе, о народ чешский, право и мощь твоя».

Перед отъездом я набросал для д-ра Бенеша и его помощников план антиавстрийского движения на родине: я принял в соображение все возможности и подробно определил, что необходимо делать в том или ином случае. Разговорами с д-ром Бенешем в Швейцарии, а также и письмами я план дополнил. В каждой войне — а революция тоже война — дело не только в преданности и мужестве, но и в продуманном плане и в организации всех сил под единым руководством.

II

ROMA AETERNA

(Рим, декабрь 1914 — январь 1915)

11.

Я решил, что сначала поеду в Италию, а потом в Швейцарию: мне было интересно убедиться, какое в Риме настроение и останется ли Италия нейтральной. Я выехал из Праги через Вену 17 декабря 1914 года.

У меня были опасения, что полиция в Праге или на границе будет мне делать всяческие затруднения. Совершенно случайно мне еще перед войной был выдан заграничный паспорт во все государства, сроком на три года; благодаря этому полиция была до известной степени связана. В газетах промелькнуло известие о болезни моей дочери Ольги, а ее я вез с собой; благодаря этому все шло довольно гладко. На границе чиновник все же делал затруднения и телеграфировал в Прагу, запрашивая, можно ли меня выпустить. Прежде чем мог притти ответ, поезд в Венецию отошел бы, а потому, в первый раз за всю мою бытность депутатом, я выдвинул свои депутатские права, сел в купе и уехал.

Из Венеции я написал Штепине в Чикаго, чтобы Чехословацкий комитет помощи, председателем которого он был, выслал мне, как было решено ранее с д-ром Штейнером, деньги. Тогда я не знал сколько будет нужно; постепенно я допол-

нял просьбу первого письма и требовал все больше и больше.

В Венеции был редактор Главач; благодаря своему богатому запасу всевозможных австрийских и венских новостей, особенно личного характера, он помог мне дополнить сведения о графе Чернине, который занимал меня в то время. Он был послом в Бухаресте и я слышал в Вене самые разнообразные сведения о его тамошней деятельности; несмотря на его отношение к Францу Фердинанду, я ожидал, что он скоро начнет вмешиваться в венскую политику.

Из Венеции, с остановкой во Флоренции, я отправился в Рим, куда и прибыл 22-го декабря. Вспомнилось мне мое первое путешествие в Италию в 1876 г.; тогда я осматривал каждый более или менее значительный город северной и средней Италии — как на меня тогда действовали многочисленные надписи, говорящие о тирании Австрии! Тогда я жил Возрождением, Италия была для меня школой и музеем искусств; позднее в Италии я жил античным миром, хотя мог продумать и прочувствовать и христианство. Итальянское возрождение прельщало меня странной смесью христианства и античности, несмотря на то, что этот синтез начался, собственно, с основания церкви. Христианство было против античного мира, но, волей неволей, не только сохранило, но и закончило его; каждый раз я снова убеждаюсь, что Август был, собственно говоря, первым папой. Посмотрите на главу Януса — Фомы Аквинского — Аристотеля! Принятию римского права, о котором так часто говорят, предшествовало приятие античного мышления и культуры. Этот особый переход Рима в католицизм в Италии можно легко проследить в изобразительных искусствах, особенно, в архитектуре (Пантеон!) и он действовал на меня сильнее, чем современные теологи, доказывающие этот синтез или синкретизм на основании литературных памятников.

А сам католицизм, церковь и папство, это великолепное продолжение и завершение Римской Империи есть дело рук не только Рима, но и его продолжателей итальянцев. Католичество есть дело романского духа; ведь и иезуитизм, основа неокатоличества, пришел из Испании. В Италии были люди удивительной духовной и религиозной силы и вне рамок церкви

— Святой Франциск Ассизский, Савонорола, Джиордано Бруно, Галилей.

Но поэтому интересна и современная Италия. Из новейших мыслителей привлекал меня гениальный Вико, его философия общества и истории, его психологический разбор общественных сил и их влияния, его проникновение в дух римского права и всей культуры. Вот снова постоянный синтез католичества и античного мира, ибо Вико был священником и при том философом истории, первым современным социологом. Католицизм своей долголетней церковной традицией вел неизбежно к философии истории — до Вико был Боссюэ и иные.

Итальянское «risorgimento» (восстановление) уже по своему названию и по времени близко к нашему возрождению; с политической точки зрения оно должно нам быть симпатичным, как национальное освобождение и единение. Здесь снова возникает важная проблема государства и церкви; целый ряд выдающихся мыслителей новой Италии ломали себе голову над судьбой и задачей папства в единении Италии. Меня занимали в этом вопросе Розмини и Джоберти, оба священники и сильные мыслители; они были интереснее итальянских кантианцев и гегельянцев. Также противник двух предшествующих — Мамиани, очень интересен в том, как он приспособливается к обоим; у всех трех чувствуется итальянское сердце и интерес к вопросам Италии после французской революции. Единение, в конце концов, было направлено против папы. 1870 год памятен для Италии, да и не только для нее: в июле собор провозгласил новый догмат — непогрешимость папы, а через несколько недель итальянское войско заняло папскую территорию, плебисцит 153.000 голосов высказался за присоединение папского государства к Италии, лишь 1507 голосов было за старый порядок. Ради сохранения папского государства католические страны не пошевельнули и пальцем — таков был конец светского владычества церкви и главы теократии. Возобновление схоластики и изучение Фомы Аквинского Львом XIII не смогут спасти средние века. Естественно и логически я связывал мои надежды на падение тройственного союза с этим мировым событием.

Вовсе не случайность, что новейшая философия в Италии усиленно изучает социологию и всевозможные общественные явления. Кроме философии истории, имеющей богатую и долголетнюю традицию, содержанием нового итальянского мышления является затруднительный вопрос о народонаселении, ведущий к колонизационной политике, вопросы об индустриализации севера, о культурном пробуждении в центре и на юге, о подлинном практическом единении Италии, а в связи с ним и о все возрастающем национальном и политическом самосознании.

В Италии проблема революции представала предо мною в различных формах, особенно же в виде политических покушений и тайных обществ; Маццини и его философия — вот живой источник для размышлений о революции.

Новой итальянской литературой я стал заниматься довольно несистематически, начиная с Леопарди из-за его пессимизма, который занимал меня с самой юности, как проблема современности. От него к Манцони уже недалеко, несмотря на то, что последний проповедывал христианство (Манцони был приверженцем Розмини) — оба ведь романтики и родоначальники новых направлений в итальянской поэзии. Затем я перескочил к д'Аннунцио, на котором выяснял декадентство и его отношение к католицизму. Может показаться непонятным, почему от д'Аннунцио я вернулся к Кардуччи, но между ними органическое единство — святотатственный «Гимн Сатане» Кардуччи делает его естественной частью того, что называется декадентством. Я буду об этом говорить подробнее в главе о Франции. Мне еще хочется только добавить, что политические выступления д'Аннунцио очень подходят к тщетным попыткам заполнения его декадентской духовной пустоты. Переход романтизма в веризм*), а потом наиновейшие футуристы и подобные бунтари характеризуют духовный кризис не только новой Италии, но и всей Европы. В Италии, так же как и в иных местах, против литературной анархии выступают литературные врачи, советующие возвращение, один к Данте, другой к Леопарди

*) Итальянская разновидность литературного натурализма.

и т. д. — по всей вероятности врачи подвержены тому же головокружению, что и пациенты.

Все это, но гораздо обстоятельнее я представлял себе, когда был в Риме и мучился над вопросом, пойдет ли Италия против союзников с Австрией и Германией. Нет, это невозможно, таков был всегда вывод моей философии итальянской истории и культуры.

В Риме были послы, часто даже два (и у Ватикана) всех государств; таким образом, здесь была возможность добыть сведения и завязать сношения. Прежде всего, я обратился к сербскому послу Любе Михайловичу и югославянским политикам. Заграницей были уже югославянские депутаты и известные люди, их количество все возрастало. Я был единственным чешским депутатом и мне это было неприятно, потому что на депутата на Западе люди смотрят скорее как на политика, чем на профессора (на моей визитной карточке было написано: Профессор Т. Г. Масарик, Deputé Tchèque, Président du Groupe Progressiste Tchèque au Parlement de Vienne — никогда в жизни на родине и без войны я не придал бы себе таких титулов!) В Риме в то время политической силой был также Местрович, потому что итальянцы (с выставки в Венеции весной 1914 г.) его признали и ценили, как скульптора; совместно с ним действовали в Риме д-р Л. Войнович и профессор Попович. Из депутатов политиков здесь был д-р Трумбич, д-р Никола Стоянович (депутат от Боснии и Герцеговины) и иные. Супило был в Лондоне; по счастливой случайности он был при объявлении войны в Швейцарии, а потому он сразу и остался заграницей. Из словинцев был в Риме д-р Горичар, бывший чиновник консульства в Америке, и д-р Жупанич из Белградской библиотеки. Собрания у посла Михайловича назначались поздно ночью из-за нас, приехавших из Австрии, чтобы австрийские агенты не могли проследить нас.

Мы разобрали общее положение и договорились о тесной совместной работе. Из отдельных вопросов югославян в Риме занимал коридор между Словакией и Хорватией; я держался мнения, что этот план можно предать гласности только по тактическим соображениям. Многие югославяне этот план

принимали; Трумбич был очень сдержан, отдавал вопрос на решение чехов.

В Италии начиналась агитация за «Dalmazia nostra»; я был на лекции одного далматинского итальянца, лектора и публициста в Англии. Тотчас же, как и позднее, я беседовал с этими антиславянскими политиками (например, с редактором Дуданом), чтобы ознакомиться с их аргументацией. Я увидел, что итальянцы из Италии (в отличие от итальянцев из ирреденты) думали о Далмации мало; Триест, Азия, Африка (колонии) и Тридент—Триест гораздо больше, чем Тридент — были предметами мечтаний. Я советовал югославянам, чтобы они тоже выступили публично и начали хорошо организованную пропаганду; я полагал, что несмотря на значительные затруднения, им бы удалось привлечь на свою сторону часть политиков и общества. Я заметил, что итальянским народом руководил не империализм, а наследственная антипатия к австриакам. Поэтому он был гораздо менее настроен против немцев (имперских). Кроме того, на итальянцев подействовало и насилие над Бельгией, несмотря на то, что Италия не давала обязательства поддерживать бельгийский нейтралитет. Источником империализма является не народ: монархи, генералы, банкиры, принцы, профессора, журналисты, интеллигенция — вот авангард и армия империализма. Уместно вспомнить, что Италия в 1913 г., когда Австрия соблазняла ее напасть на Сербию, два раза отклонила это предложение.

В Италии было много людей, которые считали, что война дело, касающееся скорее французов, русских и немцев, чем итальянцев; я часто слышал аргумент, которым теперь пользуется Нитти, что война — борьба между Германством и Славянством. Отсюда можно было черпать доводы и за нейтралитет и за немцев против славян, т. е. за «Dalmazia nostra».

Я сказал уже, что почти завидовал югославянам, ибо у них заграницей было столько политических деятелей; при ближайшем наблюдении в Риме я, однако, заметил, что им грозят распри. Хотя у них всех была одна программа: единение трехименного народа, но эта хорошая и разумная программа не была подробно разработана. Это было сразу заметно из

всех разговоров. Кроме того начал чувствоваться старый спор между сербами и хорватами. Сербский посол стоял весьма решительно за единение и был в весьма хороших отношениях с хорватами; но мне казалось, что некоторые хорваты чрезмерно подчеркивают культурное значение хорватов, в то время, как в данный момент и в течение всей войны, прежде всего дело шло о политическом и военном руководительстве.

Мои югославянские друзья знали, что я представлял себе их национальное единение, руководимое в политическом отношении сербами; я представлял себе это единство, как плод продуманной и постепенной административной унификации различных югославянских земель, привыкших к своим административным и культурным особенностям.

Внешне югославяне выступили с протестом против Тиссы, который тогда (в декабре 1914 г.) похвалил с агитационной целью хорватов за верность и храбрость в боях за общее отечество; протест (в Corriere della Sera) был подписан Хорватским Комитетом. Это выражение было употреблено для того, чтобы Вена и Будапешт не могли мстить семьям отдельных лиц, если бы последние подписались лично. В то время между югославянами шли разговоры об «адриатическом легионе», как о югославянском комитете; по крайней мере, в январе 1915 г. были изданы некоторые его заявления. В этом отношении югославяне были впереди нас. Для меня это было достаточным доводом, чтобы требовать приезда из Праги ко мне депутатов и журналистов.

12.

Из поляков встретил я профессора М. Лорета, а также познакомился с датским писателем Расмуссеном (германофилом).

С русским посольством я имел малую связь, я встречался лишь с некоторыми чиновниками (Хвощинским и военным атташе Энкелем); посол не обладал влиянием ни в Риме, ни у себя на родине; более интересным для меня был Гирс (черногорский). И позднее, я никогда не тратил времени с людьми,

которые имели лишь официальное положение: наши сперва удивлялись, когда замечали, что я не ищу знакомства с тем или иным министром или депутатом. Из историко-публицистической литературы мне были известны ценность и значение политических деятелей разных стран, и повсюду на месте я получал сведения о размерах их действительного влияния.

Я упомянул о Сватковском, с которым завязал сношения еще будучи в Праге. Он был в Вене начальником телеграфного агентства для Австро-Венгрии и Балкан. Я знал его много лет; я с ним много не работал, не желая вредить ему в его официальном положении. Вскоре после моего возвращения из Германии, он послал ко мне свое доверенное лицо, а я тем же путем сообщил ему, что приеду в половине декабря в Рим. Сватковский был родом чех, как показывает уже сама фамилия (по-русски она бы произносилась — Святковский); он, по преданию, был потомком Сватковских из Доброхошта, принявших участие в восстании 1618 г.; после конфискации имущества его предки эмигрировали в Саксонию, а оттуда в Россию. Отсюда проистекал его искренний интерес к нашему делу. Он ждал уже меня в Риме. Русские потерпели поражение в Восточной Пруссии и шли толки об изменниках в войске и в министерстве; Сватковский знал много подробностей обо всем деле Мясоедова и удивил меня резкой критикой официальной России и армии. Он был вполне согласен с моей критикой России и разделял мои опасения относительно нее; с пражским руссофильством он не был согласен и характеризовал русского великого князя на пражском троне весьма определенно («шампанское, француженки-любовницы» и т. д.). Мы внимательно рассмотрели все положение; я убедился, что могу доверять Сватковскому и сообщил ему свои планы. Он, в свою очередь, сообщил об этом в Петроград. Из Италии он мог спокойно писать в Петроград. Послом (Крупенским) он не хотел для этого пользоваться, во всяком случае, не одним им; он был о нем не слишком лестного мнения. После нескольких бесед, он послал в Петроград подробный меморандум, резюмирующий все мои взгляды и планы. Таким образом, Сазонов получил от меня второй меморандум. Первый от Се-

тон-Ватсона в октябре 1914 г., второй от Сватковского в январе 1915 г. Вообще, должен сразу отметить, что с русскими послами и другими лицами я был в постоянных сношениях. Сватковский обосновался в Швейцарии, откуда постоянно сносился с Россией и с русским фронтом; в Швейцарии мы часто виделись, позднее он приехал за мной в Париж. Эта моя тесная связь с Россией с самого начала может послужить объяснением, почему я лично не торопился в Россию. Наши люди в России и в иных местах об этом ничего не знали и некоторые даже видели в этом мое «западничество» и отвращение к России. В действительности, я и с Россией был в постоянном общении; но в зависимости от всего положения мое присутствие на Западе было необходимее, так как здесь у нас не было политических связей и нужно было добиваться понимания нашего плана. Я уже дома ожидал, что судьбы Европы будут решаться на Западе, а не в России, и это предположение, благодаря моей жизни в западных государствах, становилось для меня все очевиднее и очевиднее.

13.

С французами я решил вести переговоры позднее, когда ознакомлюсь с местными условиями в Париже, а потому с французами в Риме постоянных сношений не поддерживал. Кроме того, я предполагал, что Париж уже прежде был обработан лучше, чем это оказалось в действительности.

С английским послом (им был тогда сэр Джемс Ренелль-Родд) я несколько раз имел совещания; он мне помог переслать в Лондон письма.

В Берлине (по пути в Голландию) я сговорился о встрече с Бюловым, который стоял во главе немецкого посольства в Риме; политик, хорошо знавший Бюлова, устраивал мне этот разговор. Мне хотелось переговорить с каким-нибудь немецким официальным политическим деятелем, но Бюлов все извинялся, что ему некогда! В то время в Риме поговаривали, что он старался вовлечь Италию в войну на стороне центральных держав; он предлагал Италии итальянские части Австрии,

а это раздражало Вену. В Вене, вообще, казалось подозрительным отношение Италии и Германии.

С итальянцами, особенно официальными лицами, я встреч не искал. Я должен был предполагать, что австрийское, а быть может и немецкое посольства следят за мной, а потому я не имел права никого компрометировать, так как ведь Италия была нейтральной. Вспоминаю, однако, об одной сцене. Как-то раз вечером я навестил историка и публициста проф. Ломброзо (издавал Rivista di Roma); милый профессор был поражен моим появлением — он прочел в начале войны в газетах, что я был убит в Праге, и, как аккуратный регистратор, занес в соответствующую рубрику «Масарик» статью о моей смерти. — «Будете долго жить!»

Рим меня утешил: итальянцы останутся нейтральными, они не пойдут с австрийцами, а скорее против них; таков был результат моих наблюдений и сведений. Италия не пойдет против Англии, а с Францией у нее был тайный договор уже в 1902 г. (1—2 ноября), обязывавший ее к нейтралитету в случае войны; в данной войне Германия, объявив войну Франции и России, едва ли действовала в духе договора тройственного согласия, установленного для защиты. Австрия по отношению к Италии была прямо нелойяльна, не осведомив ее о своих шагах против Сербии, несмотря на то, что 7-й параграф договора этого требовал. В этом выражалось неуважение Вены к Италии, которое она проявляла в течение всей войны. Поэтому Италия уже 31-го июля заявила о своем нейтралитете. Высадка в Валоне предвещала активное выступление на стороне союзников, но в то же время предвещала конфликт из-за Балкан, главным образом из-за Югославии.

В декабре 1914 и в январе 1915 года велась сильная агитация за участие Италии в войне; начиналась резкая полемика с Джиолитти, который, как-будто, стоял на стороне Германии и Австрии. В действительности, как я слышал от хорошо осведомленных лиц, он был против войны, полагая, что от Австрии можно будет добиться необходимых уступок и без войны; но он не был за мир во что бы то ни стало, в особенности, если Австрия не уступит Италии. Я не ожидал, чтобы

она уступила — Вена была слишком чванная и Италии не боялась. Было известно, что особенно военные (Конрад фон-Гетцендорф) желали войны с Италией, несмотря на тройственное согласие. Эренталю было трудно защищаться против Конрада; в Италии, как я мог убедиться, все это было известно.

14.

Ватикан в начале войны был бесспорно австрофильски и германофильски настроен. Из австрийского посольства при Ватикане (граф Пальфи) и в Квиринале (Маккио) распространялись сведения, что и папа Бенедикт XV настроен против Сербии и за Австрию. У меня были совершенно точные данные о графе Пальфи. Австрия, так заявил он в Риме, католическое государство по преимуществу, оно является защитником церкви, главным образом, против православия. Граф Пальфи подчеркивал, что не только государственный секретарь, но и сам папа безусловно одобряет выступление против Сербии.

Австро-Венгрия была в Европе единственным большим католическим государством и заранее можно и должно было ожидать, что Ватикан будет на стороне Австрии. Ватикан знал, что австрийский католицизм это «болото» (так о нем отзывались крупные католические органы печати в Германии), но его надеждой был католицизм немецкий, который, благодаря своей жизненности и политической силе (центр), мог бы повести за собой австрийских и венгерских католиков. Действительно, центр и, главным образом, его деятельный политик Эрцбергер с самого начала войны играли выдающуюся роль благодаря своей пропаганде и политической инициативе. Кроме того, решающее значение имело личное хорошее отношение Франца Иосифа к папе.

Но положение Ватикана во время войны определялось не только в зависимости от Австрии и Германии, но и в связи с католиками другой воюющей стороны. Если мы будем смотреть на принадлежность к церкви воюющих сторон с чисто статистической точки зрения, то на стороне союзников во время

войны было больше католиков, чем у Австрии и Германии; уже из-за этого Ватикан был принужден действовать весьма осторожно, что на практике выражалось в постоянной неопределенности. Отсюда же постоянные споры между политическими деятелями — католиками о действительном мнении Ватикана и объяснения, которые ватиканская печать и сам государственный секретарь Гаспари должны были давать папским словам. Но политика Ватикана зависела не только от количества; так например, юго-американские республики, высказавшиеся против центральных держав, не имели такого веса, как европейские народы и католические государства. Ватикан был в особенно затруднительном положении по отношению к Франции; дошло даже до того, что французские епископы во время войны высказались против Ватикана и папы.

Благодаря тому, что Италия стала на сторону союзников положение Ватикана еще более осложнилось; этим можно объяснить, что в течение войны Ватикан утратил свое австрофильство; к этому вели и отношения с Бельгией (кардинал Мерсие).

Интересно было наблюдать, как действовали католические вожди обеих сторон. Народная точка зрения имела большее влияние, чем религия. Вспоминаю тот меморандум, который подали немецкие католики в начале сентября (1914 г.) в Рим; против него выступили французские католики в начале 1915 г.; в противовес этому ответу немцы издали новую записку. Несмотря на эти и иные споры Ватикан внешне сохранял объективность; ему это удавалось, главным образом, благодаря тому, что он избегал жгучих современных вопросов, а удовлетворялся общими рассуждениями о своем божественном назначении. Особенно Ватикан специализировался на роли миротворца; поэтому католическая пропаганда во всех воюющих землях имела целью осуществление скорого мира. При создавшемся положении это было, главным образом, на пользу немцам в Англии и Америке.

От официальной политики Ватикана необходимо отличать личное миросозерцание того или иного папы, отдельных кардиналов и лиц из различных ватиканских учреждений. В тече-

ние всей войны я весьма внимательно следил за политикой Ватикана. Через Штефаника я даже завязал с ним сношения; при этом я ни на минуту не забывал поговорки «qui mange du pape en meurt».

В Риме я на всякий случай договорился о бегстве из Триеста в Италию. Иногда я все же еще думал, что на короткий срок вернусь в Прагу; мне хотелось там поддержать наших и снова подвергнуть разбору весь план, в связи с приобретенным мною в Италии опытом. Мне также хотелось спрятать часть моих книг (с заметками и некоторые pretia affectionis). Я не сомневался, что как только выяснятся, что я остаюсь заграницей, на мою квартиру явится полиция; на этот случай я приготовил для нее письмо, сообщающее, что она не найдет ничего интересного в политическом отношении, так как важные политические документы я хорошо припрятал.

11-го января, посетив в последний раз любимый Пантеон, я выехал из Рима в Женеву; знакомый наш чиновник, итальянский дипломат, отвез нас вдоль моря (Сиена—Пиза—Сестри-Леванте) автомобилем в Геную, а из Генуи путь шел уж по железной дороге.

III

НА РОДИНЕ РУССО

(Женева, январь—сентябрь 1915)

15.

В Риме еще продолжался подготовительный период моей работы: теперь же должен был начаться творческий. Швейцария была для этого весьма удобна, хотя бы по своему географическому положению; она была по-соседству с дружескими и неприятельскими землями, между прочим и с Австрией, так что связь с Прагой была сравнительно легка. Далее, в Швейцарии, как в политическом убежище, я мог встретиться с эмигрантами остальных народов.

В Швейцарии мне были доступны все, главным образом, неприятельские газеты, немецкая и австрийская публицистика, особенно же политическая и военная; само собой разумеется, что мы получали и свои газеты. Для нас это было огромным преимуществом: по газетам мы могли следить за развитием событий на родине и во всей Австрии; в борьбе против австрийской и венгерской пропаганды это было неоценимое оружие. В Женеве и в Цюрихе можно было купить все нужные книги, журналы и карты; это продолжалось и позднее, я выписывал из Швейцарии то, чего мне не хватало в Лондоне или в Америке.

А всего этого нужно мне (а также и для моих друзей) было немало; я привык при точном политическом наблюдении чтение повременной печати дополнять политической и исторической литературой; я всегда интересовался литературой главных государств в целом, включал туда и изящную литературу, чтобы понимать политическое развитие в связи с единой материальной и духовной жизнью. У меня скоро образовалась недурная военная библиотека.

В Швейцарии была и наша колония, в Италии же ее не было; было, значит, необходимо информировать ее о положении вещей на родине, объединить общей программой группы, разбросанные по разным городам и организовать их для совместной работы. В Женеве нашлись сразу энергичные помощники: д-р Сихрава, инженер Борачек, студент Лавичка, позднее Божинов, Кийовский и другие. На д-ре Сихраве лежали тяжелые обязанности журналиста (у нас не было газетных работников, а с родины статьи в наши заграничные газеты не доходили); кроме того, он должен был наблюдать за всею службой связи с Прагой.

В это же время был в Монтре граф Лютцов; я не пошел к нему, чтобы не компрометировать его, но он знал о моей деятельности и, как позднее мне сообщили общие друзья в Англии, одобрял ее, а особенно мою русскую политику.

Едва я устроился в Женеве, как начали приходить от семьи из Праги неожиданные известия о болезни моего сына Герберта. 15 марта пришла телеграмма о его смерти — но ведь во время войны тысячи семей теряют своих членов. Был он человеком удивительной и редкой чистоты и честности, художником-поэтом, стремившимся к прекрасной простоте, здоровым и сильным благодаря физической культуре. Он все старался сделать так, чтобы ему не нужно было служить Австрии, и все же он нашел смерть в войне: заразился тифом от галицийских беженцев, которым помогал. Вот случай, пригодный для фаталистов.

Мои давнишние клерикальные противники посылали мне из Праги грубые, ненавистнические анонимные письма: «Перст Божий»! Я все же был уверен, что это не было наказанием за

мою антиавстрийскую политику, но скорее напоминанием, чтобы я не ослаблял ее...

Первой и чрезвычайно важной задачей нашей деятельности была организация подпольной работы — посылки курьеров в Прагу и обратно. Шло это довольно успешно: все мы работали с удовольствием и нас занимали новые задачи; я лично посвящал делу много времени. Задача была техническая и психологическая; изобретались и делались различные предметы, в которых прятались документы (шифрованные и нешифрованные). Был у нас, например, искусный столяр, который делал сундуки и ящики, в стенках которых можно было спрятать значительное количество газет, писем и т. д., и, несмотря на все старания, полиция ничего не могла найти. У нас было правило не делать того, что всегда практикуется, т. е. ни двойного дна, ни прятания в башмаках и платке; все должно было быть необычным.

Гораздо труднее был выбор людей и их информирование; каждый курьер, в зависимости от своей интеллигентности, образованности и т. д., получал такие инструкции, с которыми бы он мог действовать при каких бы то ни было обстоятельствах. Он должен был быть подготовлен ко всяческим положениям, а поэтому для него выбирались задачи, соответственно с его способностями. В такой работе часто мешает то, что курьеры не придерживаются точно инструкций, необдуманно импровизируют и допускают неосторожности.

Благодаря такой неосторожности было ухудшено положение д-ра Крамаржа, который вместе с д-ром Рашином скоро попал в тюрьму; с ними были арестованы и редактор «Часа», супруга д-ра Бенеша и моя дочь Алиса. Больше всего я беспокоился о том, чтобы не был схвачен д-р Бенеш. Один член нашей подпольной организации — социал-демократ — очень страдал оттого, что его партия не принимает достаточного участия в заграничной работе; ему пришла мысль послать, без моего ведома, курьера к д-ру Соукупу, призывая его и партию к активной работе. Этот курьер был пойман полицией. Вся история достаточно известна. На нас этот случай отразился в том отношении, что мы должны были все начать снова и но-

вым способом. Полиция тоже стала более ловкой, а следовательно и мы должны были напрягать все свои силы.

Связь с Прагой велась до известной степени также и «легально» — почтой; сначала, по крайней мере, письма (неполитические) доходили туда и обратно; таким образом, я мог осторожно и при помощи шифра сообщить, например, что собираюсь съездить домой. На это, однако, сейчас же пришла (в начале января) телеграмма от д-ра Бенеша, сообщающая, что это невозможно; Махар также сообщил мне, что меня казнили бы сейчас же на границе. Мои прежние друзья были хорошо информированы о телеграмме барона Маккио из Рима (он не любил меня после моей борьбы против Эренталя), который жаловался на мою «предательскую деятельность» в Риме. Наши, дома, очень искусно пользовались газетами (и немецкими), давая нам в различных объявлениях и хронике сведения и советы. Д-ру Бенешу удалось два раза приехать ко мне в Швейцарию. Приезжали также профессор Гантих, депутат Габерман и д-р Тржебицкий. Д-р Тржебицкий подтвердил мне то, что я уже знал ранее от д-ра Бенеша, а именно, что д-р Рашин прекрасно и усердно работал с д-ром Бенешем в маффии. Я просил передать ему, что прежние несогласия и размолвки, которые были между нами, теперь стерты для меня войной, и я весьма рад, что мы работаем вместе.

Особым и сложным родом занятий было создание различных шифров и ключей, так как их приходилось менять через известные промежутки времени; инженер Барачек работал над конструкцией особой пишущей машины для шифрования.

Другой важной задачей было собрание колоний во всех союзнических государствах в единое целое; шло это весьма медленно, так как корреспонденция на расстоянии была затруднительна. С течением времени я посетил все главные колонии или послал к ним верного человека, таким образом, были подкреплены письменные переговоры. Чтобы не заводить обширной и утомительной корреспонденции, мы должны были основать газету, которая осведомляла все колонии и руководила ими. До известной степени нам в этом помогала друже-

ственная печать, публикуя известия и интервью, но и враждебная не отставала — своими доносами и жалобами.

С Парижем теперь легко было сноситься. С Дени мы переписывались, а затем приехал Кепль, который помогал ему при работе в парижской колонии. С Парижем были установлены регулярные сношения почтой и при помощи взаимных посещений. Из Женевы было также легче переписываться с Лондоном, Америкой и Россией.

Наши люди всюду поняли правильно, что было нужно; всюду появились попытки военной и газетной организации, всюду старались создать руководящий центр. Так возник в Швейцарии в Берне «Центральный Союз Чешских Обществ в Швейцарии» (3-го января); в Париже начал выходить еженедельник «Наздар» — Гоффмана-Краткого, а позднее, «L'Indépendance Tchèque», орган Коничка из России; вскоре же (28-го января — 5 февраля) был создан «Национальный Совет Чехословацких Колоний». Этот «Национальный Совет» выступил с резким антиавстрийским манифестом (16 февраля — Франц Иосиф лишен трона) и обращением к словакам. Нужно, однако, отметить, что эти парижские предприятия также и вредили нашему делу.

В Америке в Клевеленде 13-го января состоялся съезд «Чешского Национального Союза в Америке». В нем сосредоточилась вся революционная работа наших американских колоний.

В Москве 7—11 марта был созван первый съезд представителей чехословацких обществ в России и на нем основан «Союз чехословацких обществ в России».

Таким же образом организовались наши земляки в Сербии и в Болгарии; только в Германии, где наших людей было больше, нежели в иных государствах, естественно, этого не могло быть.

Всюду создавались и провозглашались приблизительно одинаковые планы; протест против Австро-Венгрии выражался главным образом вступлением в союзнические войска.

Политическая программа обычно бывала довольно радикальна, но недостаточно продумана; требовали, например, не

только Вену с Австрией, но и всю бывшую Силезию, а иногда и такие земли, которые принадлежали чешской короне лишь короткое время. Подобным восторженным политикам не приходило в голову, что такое наше государство было бы, по преимуществу, немецким. Когда подобные фантазии распространялись между нашими людьми, то в этом еще не было большой беды, но они очень вредили, когда их преподносили каким бы то ни было правительствам или политическим деятелям.

Всюду в колониях были партийные и личные недоразумения, часто обусловленные местными особенностями; всюду было много умничания, зависти и личных распрей, но всюду было и много доброй воли. Самые сильные затруднения были, пожалуй, в Париже; проф. Дени не мог всего этого выдержать и отказался от работы. Упомянутый выше «Национальный Совет» и газеты были погребены, едва лишь родившись (журнала «Наздар» вышло, кажется 4 номера, а «L'Indépendance Tchèque» — 11).

Без особых затруднений скоро всюду был признан мой авторитет; благодаря сообщениям и советам, отдельные колонии могли ориентироваться. Так, летом 1915 г. этот процесс был в главных чертах закончен. У нас образовались газеты под руководством отдельных лиц: журнал Дени «La Nation Tchèque» вышел 1-го мая, 17 июня вышел в Петербурге «Čechoslovák» Павлу, в Киеве выходил «Čechoslovan» Швиговского, наконец, у нас была еще «Československá samostatnost» д-ра Сихравы, выходившая во французском городке Аннемассе, начиная с 22 августа. «Samostatnost» была настоящим «органом политической эмиграции» (таков был подзаголовок) и выразительницей мнений центра и руководящих кругов всей заграничной деятельности. В Америке чехи и словаки обладали обширной печатью. В России словацкая газета возникла лишь в 1917 г. (с мая начали выходить «Slovenské hlasy»). В Сибири выходили позднее чешские и словацкие газеты.

На меня все время нажимали, требуя, чтобы из Чехии приехали депутаты и журналисты: в конце мая приехал депутат Дюрих. Я его знал по венскому парламенту; он был в своих выступлениях, как депутат, весьма приличен, говорил по-фран-

цузски и по-русски, но политически, для данного положения, был слаб. Приехав, он заявил, что д-р Крамарж выбрал его специально, как народного представителя для России; я против этого ничего не имел, в случае, если мы сможем сговориться о программе. Он ориентировался на царя и даже на православие, как множество тех из наших руссофилов, которые ожидали спасения от России. Наших раздражало, что он со своей руссофильской пассивностью не принимал участия в нашей работе; кроме того, они его обвиняли, что и в Россию он не слишком торопится. Желая избежать публичных споров, я неоднократно был принужден сдерживать неспокойные элементы. Что касается его поездки в Россию, то я заметил в русском посольстве, что о нем ведется переписка с Петроградом; в чем она состояла, мне не говорили. Задержка бросалась в глаза.

Я еще в Праге подумывал о том, чтобы д-р Шейнер, как глава соколов, бежал в Россию; у него был большой авторитет и им он мог воспользоваться для создания нашего войска. Из Швейцарии я усиленно и часто настаивал на этом. Из Праги я получил, наконец, известие, что это будет осуществлено.

16.

В Швейцарии все более и более укреплялась наша политическая связь с союзниками заграницей. Прежде всего, в самой Швейцарии нашли мы новых многочисленных друзей; естественно, они были сначала из французской, но позднее и из немецкой части Швейцарии. Скоро у меня были завязаны сношения с кругами публицистическими (Journal de Genève и другие), университетскими и т. д. Хорошей помощницей мне в этом отношении была дочь Ольга.

Мы получали важные, особенно военные, сообщения из Праги; это было достаточной причиной для того, чтобы установить постоянные сношения с итальянским посольством.

Совместная работа с югославянами продолжалась; мы взаимно сообщали, кто и что делает, советовались и часто

совместно выступали. В Женеву приезжали из всех югославянских земель различные политические и общественные деятели. В Лондоне 1-го мая 1915 г. образовался «Югославянский Комитет», как руководящий орган югославян из Австро-Венгрии; он издавал свой «Bulletin Jougoslave» в Париже и подавал французскому правительству, английскому парламенту и иным свои меморандумы. Сербы из королевства имели в Женеве свою газету «La Serbie»; в Женеве, кроме того, было «Сербское газетное агентство», у черногорцев было два органа: «Ujedinjenje» прогрессистов и «Glas Crnogorca» — королевский; выходил в Нейи у Парижа.

Я написал предисловие к книге, в которой югославяне развивали свою национальную программу.

В Женеве были добрые знакомые, как например, проф. Б. Маркович и иные; на время здесь появился и Супило по своем возвращении из России, куда он отправился сейчас же после нового года для осведомления официальной России о Югославии. Об этой его поездке в Россию расскажу позднее. Сербский консул доставал для нас необходимые паспорта и визы во Францию. У меня лично тоже был сербский паспорт. При помощи этих друзей я достал сведения о наших земляках в Сербии. В Женеву также приехал начальник лагеря военнопленных и от него я услышал, что делается в Сербии и сколько у них там наших пленных. Я подумывал тогда съездить взглянуть на них, но обстоятельства задерживали меня в Женеве.

В Швейцарии также была довольно сильная болгарская пропаганда. Очень скоро между болгарами и сербами завязались острые споры, между прочим, из-за Милюкова, склонявшегося к Болгарии (Милюков, изгнанный одно время из дореволюционной России, жил довольно долго в Болгарии и был, благодаря этому, ближе болгарам). Я, естественно, в этом споре с болгарами участия не принимал, несмотря на то, что осуждал болгарскую политику, как это видно из моего ноябрьского заявления. Болгары требовали не только всю Македонию, но и старую Сербию и, так называемую, болгарскую Моравию. Кроме того, еще необходимо припомнить, что союзники обещали все это болгарам, желая привлечь их на

свою сторону — эта политика союзников, направленная против Сербии, истекающей кровью рядом с ними, была предметом серьезных размышлений моих югославянских и английских друзей.

Были, однако, споры и между различными югославянскими организациями и отдельными лицами; была уже ясна определенная политическая дифференциация: сербы придерживались программы великосербской и централистической, хорваты и словинцы — федералистической; между ними было, однако, много стоявших за великую хорватскую программу. Централисты и федералисты провозглашали национальное единение (Югославия), но одно и то же слово выражало различные неразработанные понятия; кроме того, были еще иные различные оттенки и направления, как-то: черногорцы, австрофильское настроение не только в Хорватии, но и в Сербии (представитель проф. Перич в Белграде), и иные.

С Россией я был в постоянных сношениях при помощи Сватковского, жившего уже в это время в Швейцарии. Также с русским посольством в Берне завязал я сношения (они были не очень близки).

Я переписывался, конечно, с руководящими лицами нашей русской колонии; в начале февраля приехал из России через Париж Коничек, член первой депутации к царю. Приехал, по его словам, чтобы передать мне руководство в России. Я сразу как-будто очутился дома: один из наших неопытных политически людей в России. Он свои речи на публичных выступлениях начинал: «Батюшка царь вас приветствует». Благодаря этому он сейчас же проваливался во всех наших колониях, как в Париже, так и в Женеве и Америке. Многие считали его русским официальным агентом. Он очень скоро начал со мной борьбу. В Париже он завладел «Национальным Советом Чехословацких колоний» и основал «L'indépendance Tchèque». Он причинил нам довольно много неприятностей, а благодаря своему черносотенному панславизму возбудил недоумение у французов. У него, однако, было мало приверженцев; между прочим, некоторые из них дошли до таких крайностей, что их стали считать за австрийских провокаторов. В Женеве

им симпатизировал д-р В. Штепанек, агитировавший в чешских трактирах и кофейнях, при помощи листовок, в которых провозглашал царство черносотенства, панруссизма и православия. Несмотря на это, я ему помогал в деле связи с Прагой; я не мешал ему, когда он выразил желание ехать в Россию, наоборот, и в этом я ему помог. Он появился у меня, в Лондоне, на своем пути в Петроград.

17.

Когда организация нашей заграничной работы значительно окрепла, я уехал в половине апреля в Париж и Лондон, чтобы своими глазами увидать, что там делается. Из обеих колоний приходили сообщения о личных и политических столкновениях, а мои друзья, Сетон-Ватсон и Стид, упорно звали меня туда, также и по политическим причинам. Мы все подробно разобрали в Париже с Дени, я также поговорил со многими членами колонии; после этого настало успокоение. В Лондоне закончить все споры было гораздо легче, но я задержался там дольше, желая выработать для министра Грея и для политических кругов меморандум, в котором я определил более точно то, что я в Голландии изложил Сетон-Ватсону. В этом меморандуме я выдвинул историческое право на нашу самостоятельность и обосновал, вообще, наше движение. Это было необходимо, потому что в Англии многие политики представляли себе будущее изменение Европы более по национальным принципам. Я также полемизировал против уступки значительной части Далмации Италии, о чем я узнал как раз в Лондоне. Переговоры о соглашении Италии с Англией, Францией и Россией продолжались уже довольно долго, я слышал о них всяческие намеки (от сербов) еще в Женеве и в Париже.

В Лондоне я был весьма достоверно информирован об общем положении.

В Лондоне я также был у русского посла Бенкендорфа. Я его осведомил о нас, об Австрии, передал ему несколько документов (между прочим, приказ Фридриха о преследова-

нии соколов). Мне казалось, что переговоры с Италией имели на него влияние; во всяком случае, он не решался ничего обещать и было ясно, что у России нет определенного точного плана по отношению к славянам. Для меня это не было новостью, и поведение Бенкендорфа это мне только подтвердило. Он мне советовал, как можно скорее ехать в Петербург к Сазонову, а главное, к Николаю Николаевичу, по его словам, всемогущему господину положения.

На обратном пути из Лондона я задержался снова на недолгое время в Париже и докончил то, что начал ранее. С Дени у нас был длинный и подробный разговор о всех славянских землях и само собой разумеется, о мировом положении; его книга «La guerre», которую я, как только она вышла, послал в Прагу, была подходящей основой для дискуссии. В общем, мы договорились; о судьбе Царьграда, вопросе чрезвычайно важном, у него была своя особая точка зрения. По вопросу о газетной организации мы уже вели переговоры из Женевы, сейчас мы их закончили.

В Париже я также встретился с работавшими там югославянами; главным лицом был посол Веснич, которого я знал еще студентом. В течение всей войны он был для нас верным и полезным союзником. Мы, конечно, говорили также о Лондонской конференции и об уступках, которые союзники (и Россия) делают Италии в Далмации. Стремление привлечь Италию на долгое время и в Париже отодвинуло на задний план славянские вопросы. Поэтому я даже не старался увидеть министра иностранных дел Делькассэ, полагая, что ему это будет не особенно приятно; кроме того, я был осведомлен, что он уже долго не удержится (он подал в отставку 13 октября).

18.

Не могу отрицать, что Италия доставила мне большое удовольствие, отрекшись от тройственного согласия (4 мая) и, наконец, объявив Австро-Венгрии войну (23 мая). Моральное, политическое и военное значение этого решения было

весьма значительно, так как положение на фронте в 1915 году не было в нашу пользу. Правда (и это определяло политическую точку зрения Италии) Германии она войны не объявляла, это случилось лишь год спустя (28 августа 1916 г.). Хорваты и Словинцы были весьма обеспокоены Лондонским договором.

О том, что Италию хотел привлечь на свою сторону Бюлов, я уже говорил; Австрия под давлением Германии сделала Италии различные предложения, дабы она осталась нейтральной. Буриан предлагал (27 марта 1915 г.) итальянский Тироль, но Соннино (9 апреля) требовал гораздо больше, главным образом, немецкие и славянские области. Австрийские дальнейшие предложения уже не имели значения (10 мая), так как 26 апреля в Лондоне был заключен договор, по которому половина Далмации приходилась Италии.

Тогда поговаривали в довольно осведомленных кругах, что император Вильгельм ухудшил положение Австрии и Германии своей безудержной личной критикой итальянского короля; в действительности, как я позднее узнал, Вильгельм оскорбил итальянского короля своей краткой и резкой телеграммой, требуя от него исполнения союзнических обязательств.

В Швейцарии я весьма основательно следил за ходом развития войны; хорошим пособием для постоянного военного обзора были статьи полковника Фейлера, редактора «Revue militaire Suisse» в «Journal de Genève». Меня все еще мучил вопрос, действительно ли война продлится так долго, как я полагал. В начале 1915 года многие французские политики и военные еще ожидали скорой победы при помощи России; припоминаю предсказания генералов Зурленден, Дюшен и иных. До лета 1915 г. я ознакомился с положением в главных союзнических государствах и убедился, что всюду нас мало знают и что у нас нет серьезных политических связей; я боялся, что мы сыграем в пустую, если союзники скоро победят. Во время более продолжительной войны у нас было бы больше времени для пропаганды. Всюду говорили о безрезультатной войне; положение в 1915 г., и даже позднее, этого не исключало.

Битва на Марне и ее последствия постоянно меня занимали и я старался добиться о ней специальных сведений; но я их

достал в значительной мере лишь позднее в Англии. На французском фронте после битвы на Марне все более и более укреплялся позиционный метод войны, из чего можно было судить, что война затягивается. В апреле немцы поразили всех удушливыми газами; вообще, они подобными неожиданностями старались осуществить свою тактику запугивания. Более решительных сражений не было.

Русские потерпели поражение в прошлом году в Пруссии, в 1915 г. также в Галиции (Горлицы—Перемышль): надежды на русскую оккупацию чешских земель были погребены. Летом немцы перешли к оккупации русской Польши; пала Варшава, а потом и Вильно. Русская армия не была уничтожена, но загнана внутрь страны. То, что царь принял верховное командование над армией (6 сентября), характеризовало положение в России, всю бесталанность царя и его советчиков.

Итальянцы наступали медленно; на Изонцо начался ряд битв (их насчитывается, кажется, 12). Англичане начали в феврале отважный бой за Дарданеллы, который, однако, скоро оказался невыгодным.

Немецкая пропаганда в Швейцарии весьма ловко пользовалась положением на фронте. Поэтому я заехал на несколько дней в Лион, чтобы посмотреть на южную Францию и на войско, особенно новобранцев. Враги Франции распространяли неблагоприятные слухи о французских рекрутах и об антимилитаристическом настроении в Лионе и на всем юге Франции. В придачу я мог наблюдать католическое движение и как оно отражалось в войсках, главным образом на новобранцах, шедших в полк с медальоном Девы Марии на фуражке или шинели. Я обращал большое внимание на религиозное движение во время войны во всех странах.

Заехал я, хотя на самый короткий срок, и в Италию, желая посмотреть, насколько изменились прежние условия после объявления войны. Я видел северную Италию (Милан), о которой тоже распространялись неблагоприятные слухи. Я побывал у русского писателя Амфитеатрова, жившего тогда в Леванте. Я вернулся из Италии, как и из южной Франции, успокоенным.

19.

Я решил, что мы должны демонстративно выступить против Австрии. Наши колонии всюду нетерпеливо ожидали этого. В России уже с осени была дружина, во Франции наши также шли в армию; во всех колониях решительно выступали против Австрии и Германии. В австрийской армии наши вели себя прекрасно. Мы старались всюду распространять об этом сведения. Пражский полк весь перешел к русским у Дуклы (3-го апреля) и австрийские газеты, сообщая об его роспуске, еще долго потом замалчивали все движение. На родине все увеличивались политические преследования (арест д-ра Крамаржа, д-ра Рашина и иных — процессы об измене и конфискация имущества); в Вене поддались немецкому давлению, изменили государственный знак и так возникла «Австрия», не обремененная уже «королевствами и землями, представленными в рейхсрате». Мы на все это указывали в нашей пропаганде, но нашим людям, как иностранцам, не хватало, если можно так выразиться, официальной фирмы для всего предприятия. Югославяне перегнали нас в этом отношении, как центральным органом, так и официальными заявлениями. Правда, для моей сдержанности была важная причина — финансы. Для ведения каждой войны нужны деньги, много денег, а у меня пока не было достаточного фонда; из Праги денег не посылали, а с Америкой сношения были весьма затруднены. А без денег я не хотел и не мог начать официально действовать; мы не имели права, начав дело, остановить его или отступить, мы должны были все развивать его. Поэтому я устроил так, что сначала мы выступили с культурными вопросами. 4 июля в Цюрихе я произнес нашим и немцам речь о Гусе, а 6-го мы с Дени организовали собрание в Реформаторском зале в Женеве. У Дени была историческая лекция, я прибавил к ней политическое заключение. Это наше выступление, прорекламированное надлежащим образом в газетах, имело успех; в союзнических землях всюду на него обратили внимание. Всюду оно имело выгодные последствия, как для наших солдат, так и для колоний; означало это, что наше движение проникнуто духом

гуситских предков и что у него есть не только политическое, но и моральное оправдание. И в последующие годы мы всюду устраивали торжества в память Гуса; в Англии, например, в 1916 г. 6 июля во всех храмах было упомянуто о Гусе и чехах. В Австрии тоже обратили внимание на женевские торжества в пямять Гуса; «Neue Freie Presse» говорила, что это «первое объявление войны Австрии».

Чисто политическое выступление я отложил еще на некоторое время также и потому, что мне из Праги написали, чтобы я подождал. Я их осведомил о своих планах и послал черновик манифеста. Кроме того я ожидал еще приезда д-ра Бенеша. Когда, наконец, д-р Бенеш в начале сентября (2-го) приехал окончательно, и заграничная работа была, как следует, распределена, мы выступили публично 14 ноября против Австрии. В это время я уже был в Лондоне.

20.

Решение выступить против Австрии было для меня не только политической, но также и моральной проблемой.

Проблема войны и революции занимала меня уже давно, очень давно; ведь это главный моральный вопрос — гуманизм не был для меня только словом. Ведь это же и чешская проблема; вопрос Жижка или Коменский — был Колларом и Палацким разрешен в пользу Коменского. В наше время на проблему, в более общей форме, обратил внимание Толстой. Я был у Толстого несколько раз. Я никак не мог согласиться с учением о непротивлении злу; я утверждал, что каждый постоянно и во всем должен сопротивляться злу и выставил против Толстого истинную гуманитарную цель: быть постоянно на страже, преодолеть старые идеалы насилия, идеалы геройства и мученичества, энергично и с любовью отдаться работе, мелкой работе, работать и жить! В крайнем случае сопротивляться насилию и нападкам железом, защищать себя и других от насилия.

Толстой не признавал психологически, а следовательно и

морально разницы между защитой и нападающим насилием. Это не верно; мотивы там и здесь различные, а именно мотив имеет решающее значение в нравственности: вот, стреляют двое, а между тем есть разница — защита и нападение. Когда двое делают одно и то же, в действительности это не одинаково; механическое действие одинаково, но различны намерение, цель, нравственность. Толстой однажды доказывал при помощи арифметики, что в случае, если люди не будут сопротивляться, их будет гораздо менее убито, чем если они будут сопротивляться; во время боя люди с обеих сторон приходят в ярость, а оттого их и больше убивают; в случае, если нападающий не встретит сопротивления, то у него упадет настроение и он перестанет убивать. Попробуем и мы стать на такую точку зрения практически: если один из них должен быть убит, так пусть это будет нападающий! Почему должен быть убит человек не нападающий, не предпринимающий ничего злого, а не тот, который хочет зла и который убивает?

Я вполне ясно сознаю, что люди очень легко переходят от защиты к нападению; правда также то, что очень трудно удержаться в границах самозащиты при нападении, но Хельчицкому и Толстому не может быть противопоставлен иной нравственный закон.

Я также вполне сознаю, что во многих случаях очень трудно определить, кто, какая сторона начала нападение; но все же это не невозможно. Честные и мыслящие люди могут довольно беспристрастно определить, с чьей стороны пришло нападение и кто лишь защищается. В «Чешском вопросе» и, наконец, перед самой войной в «России и Европе» был я занят гуманитарным вопросом войны наступательной и оборонительной а также и революции, в широком смысле слова.

В Женеве представителем толстовских взглядов был Ромэн Роллан, работавший тогда в канцелярии, заботившейся о пленных. Многие нападали на него из-за его отрицания войны и даже подозревали его в том, что он продался немцам. Это было совершенно несправедливо. Его статьи, собранные под общим названием «Au dessus de la mêlée» ясно это доказывали способному к критике читателю. Роллан был учеником Тол-

стого, в связи с этим я и определял его пацифизм; он был для меня приятной побудительной причиной для пересмотра моего гуманизма.

К этому времени пацифизм всюду начал расширяться. Я ничего не имею против пацифизма, в том виде, как его практиковал Роллан, который, не желая и не будучи в состоянии воевать, работал для пленных; но существуют различные пацифизмы. Есть пацифизм людей по натуре слабых и трусливых, людей напуганных и сентиментальных, спекулянтов и т. д. Мне были весьма противны пацифисты, которые, на основании поверхностного знания дела, защищали Германию, как будто она подверглась нападению, в то время, как немцы давно, и в последнее время в особенности, были злейшими врагами пацифизма. Конечно, я говорю о Германии официальной, которая хотела и вела войну; среди немцев, как и всюду, были пацифистские тенденции и во время войны.

К литературному и буржуазному пацифизму примыкали радикальный пацифизм социалистов, в такой форме, как он выразился в 1915 г. на Циммервальдской конференции (3 сентября).

В этих своих размышлениях я исхожу из той точки зрения, что бой на поле сражения вовсе еще не худшее зло человеческого общества. Война не исчерпывается битвами на фронте и открытой борьбой; рядом с воюющими героями до сих пор есть множество того отвратительного, что взятое вместе и составляет милитаристическую войну — фальшь, ложь, погоня за наживой, низость, месть, жестокость, половая распущенность и т. д. Люди все еще слишком романтически видят лишь Наполеонов и доблестных генералов, как их нам преподносили старые художники; а ведь, начиная с сотворения мира, в битве Одиссей важнее Ахилла. Нужно разобрать все то состояние общества, при котором возникла война. И дело вовсе не в одних убитых, но и в увечных и войною обессиленных и в том, как о них заботятся. И все это — война. В этом отношении я мог во всех союзнических государствах делать интересные наблюдения: где, например, сообщались наиболее правдивые сведения о положении на фронте, где лучше была санитарная помощь и т. д.

Положение: «гуманизм против насилия» обострялось у меня на практике вопросом: должен ли наш революционный солдат чех и словак стрелять в своего брата чеха и словака на фронте? Это не было абстрактной казуистикой, так как наши легионеры встречались, действительно, с земляками на поле сражения; были случаи, что в сражении встречались братья, отец и сын... Само собою разумеется, что на практике обе воюющие стороны поняли друг друга и договорились, что наши люди из австрийских рядов переходили в нашу армию; но были случаи и весьма жестокого братоубийственного боя, когда наши австрийские солдаты не отступали от основной политической точки зрения — Палацкого...

Не одну ночь мучила меня мысль о судьбе наших добровольцев и борцов, попавших в руки австрийской военной юстиции. Известия о казнях наших юношей все умножались... я чувствовал жгучие муки в то время, как проповедывал неукротимую борьбу и призывал нашу молодежь к битве на жизнь и на смерть. Часто у меня было очень живое ощущение, что и я, провозглашая войну, должен сам итти воевать — хотя я сам себе говорил, что вождь не смеет подвергать себя опасности ради тех, кто воюет. В конце концов, я решил, что не буду избегать опасности и не буду бояться за жизнь, т. е. вернее не поддамся этому страху, так как думаю, что в опасности каждый человек боится за свою жизнь. Нужно сказать, что я нигде не находился в безопасности.

Потом был не менее мучительным другой вопрос: что скажет народ, если мы не победим...

Я не буду пускаться в подробности сложного вопроса, я хочу только изложить возникновение своего окончательного выступления против Австрии (и Германии), и как я с своей гуманистической позиции по праву перешел в ряды борющихся. Вот что, de facto, означала наша заграничная работа и наше формальное выступление, так как я уже приехал заграницу с убеждением, что у нас должно быть свое войско заграницей. Колонии в Швейцарии, Франции и Англии были слабы и не могли дать добровольцев; больше наших людей было в Америке и в России. В России были пленные, многие из них добровольно

перешли фронт, следовательно, в России должна формироваться наша армия. Америка могла бы дать значительное количество людей, но она нам мешала своим нейтралитетом. Без активного войска на наши стремления к освобождению мало кто обратит внимание. Воевал весь мир, и в таком случае мы не могли успокоиться одними историческими и правовыми трактатами.

У меня бывали частые, хотя и не всегда полные сведения о деятельности наших в России, особенно же о дружине и ее развитии.

Россия была как бы отрезанной от Запада, русская пропаганда была весьма слабая. Я получал русские газеты (между прочим, и «Чехословака» Павлу) и печатные произведения вообще, но всегда с опозданием, неправильно и не полностью. То, что я получал, я дополнял своими сведениями об отдельных личностях и условиях.

На всякий случай я послал особого курьера в Россию. Таких особых курьеров я, время от времени, посылал в Россию и в иные места (даже в Австрию и в Прагу); то были образованные и интеллигентные мужчины и даже женщины, которые ехали ради самого дела. Я им давал подробную информацию; они не должны были разыскивать моих знакомых, но лишь наилучшим и наиболее подробным образом осведомляться о разных лицах и условиях жизни. Само собою разумеется, что это были граждане нейтральных или союзнических государств.

Я часто также получал сведения от лиц, приезжавших из России, Австрии и Германии; многих я розыскал сам, услышав о них от других. В Швейцарии я сам иногда встречался с людьми из Вены; иногда они бывали прекрасно осведомлены. Один или два раза я даже говорил с чиновниками, которые были несогласны с официальным курсом политики и которые храбро сообщили мне все, что знали сами. Один случай остался у меня в памяти: я встретил на прогулке по берегу озера знакомого парижского банкира, однако, венгерского подданного, хорошо осведомленного о положении в Вене и Будапеште. От него я узнал много интересных подробностей.

21.

Для гуманизма был весьма важен вопрос о виновниках войны. Я был об этом того мнения, какое изложил в «Новой Европе». Литература по вопросу о виновности росла во время войны; теперь из нее можно составить целую библиотеку и выводы на основании документов весьма облегчены; я обосновываю свое мнение на многолетнем наблюдении Германии и Австрии, а главным образом, пангерманского движения.

При суждении о виновности подробности не играют решающего значения и дело не в том, объявил ли кто мобилизацию и начал иные военные приготовления на два часа или дня ранее другого. Вопрос заключается в том, кто наиболее способствовал созданию общей политической атмосферы, из которой, когда появился повод, война возникла, так сказать, механически.

В Германии и в Австро-Венгрии были виноваты империализм и империалистический милитаризм. Германский империализм в той форме, в какой за последнее время он был провозглашен и проводим пангерманистами, был, по существу, насильническим. В Германии и Австро-Венгрии без всякого стеснения совершалось насилие над не-немецкими народами, вся внутренняя политика носила насильственный характер; говоря по справедливости, Европа, глядя на все это, молчала. Немецкие философы и историки провозглашали, что поляков нужно уничтожить (Эд. фон-Гартман) а нам чехам разбить головы (Момзен). Подобным же образом и на внешней политике можно было наблюдать резкое, несчитающееся ни с чем, стремящееся к господству настроение и нетерпеливое желание господствовать. Пангерманизм есть выражение подлинной практики, и обратно, его учение о «господствующем народе» управляло всей немецкой и австрийской политикой. В этом духе немецкие философы и юристы возвысили насилие до степени морального и правового принципа: немцы разработали самым подробнейшим образом теорию, что право возникает из силы, и одновременно начали проводить ее в жизнь самым бесцеремонным образом. Там, где общественное мнение было столь

проникнуто агрессивным милитаризмом, где бесцеремонный пангерманизм стал символом веры штатских и военных, где войско было постоянно наготове, — там государство, а с ним и народ, могло легко броситься в войну, как только у него был для этого подходящий случай. Подходящий случай нашелся в Сараевском покушении.

Если Трейчке, а после него и все немецкие теоретики «Drang nach Osten» объясняют нам, что у немцев с самого начала была задача колонизовать восток и подчинить себе славян, то этим наступательное воспитание народа может быть объяснено, но ни в коем случае не оправдано и уж ни в коем случае не прославляемо.

Что Австрия и Германо-Пруссия постоянно думали о войне, ясно видно из тайного военного австронемецкого договора 1900 г., раскрывающего истинный смысл тройственного согласия (на этот договор совершенно верно указал венский редактор Каннер).

В союзнических государствах слишком односторонне приписывали всю вину Германии; Австрию так хорошо не видели, так как с ней столь непосредственно не воевали. А между тем, на Австрии лежит добрая часть вины, за что она и понесла заслуженную кару. Австрия могла (по непонятным обстоятельствам она сделала это слишком поздно) требовать за Сараево удовлетворения; в этом отношении были согласны все государства; но Австрия виновата в том, что чрезмерными требованиями по отношению к Сербии рисковала и провоцировала войну с Россией; в Вене и Будапеште после Сараевского убийства старались оболгать Сербию, уверяя, что сербское правительство организовало покушение. Протест сербского правительства остался без последствий. Сербское правительство в действительности предупреждало Вену и обращало внимание на возможность покушения; это сообщил в своей книге о Сербии уже Дени (он был осведомлен сербами), а новейшие сообщения бывшего министра Билинского это подтверждают. Но министерство иностранных дел Берхтольда выступило против Сербии с той же маккиавелевской политикой, как и его предшественник, выступивший против Сербии

с фальшивыми документами. Вена и Будапешт прямо приходили в ярость от одного имени Сербии. Сербия должна была быть уничтожена. Вена и Будапешт, а также отдельные их политики, лишь расходились в способе, как лучше всего этого можно достигнуть.

Выше я уже указал на различие между австрийским и сербским министром в деле Пашич—Берхтольд: сербский министр во время победоносной войны был готов предупредить дальнейший конфликт с Австрией — австрийский же министр дерзко отверг мирное предложение; вышеупомянутый Билинский в своих воспоминаниях говорит с полным правом, что, может быть, не было бы мировой войны, если бы Берхтольд не был так безрассуден. Но вот в этом как раз и заключалась австрийская и немецкая система.

Великая вина Германии заключается в том, что она дала своему союзнику «carte blanche», позволила ему решать в столь чреватом последствиями вопросе и что под предлогом союзнической верности она использовала объявление войны Сербии, как долго ожидаемый повод. Теперь мы достоверно знаем из воспоминаний Конрада Гетцендорфа, что Германия обещала Австрии помощь даже в том случае, если наступление на Сербию вызвало бы великую войну (Конрад слышал об этом от Берхтольда уже 7-го июля!). Германия могла быть более разумной, чем поверхностная, пустая Австрия, а потому и вина ее больше. Одно решительное и сильное слово императора Вильгельма напугало бы Вену.

Германия также виновата в том, что не согласилась на английское предложение и не устроила свидания императоров, королей и президентов, или министров иностранных дел, дабы они могли лично и устно разобрать вопрос.

Вину Германии и Австрии и их насильнический дух подтверждают и те жестокости, с которыми они вели войну. Потопление Лузитании, расстрел англичанки мисс Кэвелль в Брюсселе, бомбардировка Лондона и многие иные нападения, совершенно лишние с стратегической точки зрения, применение ядовитых газов — по праву возмущали общественное мнение во всех государствах и настраивали их против

немцев. Наступление австрийской армии в Сербии и Галиции было поистине варварским — убивались тысячи и тысячи людей часто с чисто болезненной жестокостью: драма Краузе дает нам весьма реальные и безусловно достоверные доказательства этого, характеризуя одновременно и дегенеративную жестокость Габсбургов.

Я должен вспомнить ту значительную помощь, которую нам и югославянам оказал своими лекциями и печатными произведениями швейцарец по рождению проф. Рейсе, видевший своими глазами в Сербии австрийские и мадьярские зверства и читавший о них лекции сначала в Швейцарии, а потом в Париже и Лондоне.

К этим жестокостям я присоединяю и всю ту неправду и прямо ложь, которые непрерывно распространялись немецкой и австрийской пропагандой. К такой лжи может быть причислен рассказ, что французы начали неприятельские действия переходом через границу, бросанием бомб с аэропланов на немецкую территорию, в то время, как в действительности французы стянули войско на 10 километров от границы, желая избежать какого-либо возможного инцидента. Я убедился, что как раз этот образ действия французов завоевал симпатии сдержанной Англии. Всю эту и подобную ложь я мог точно проверить. Я вполне допускаю, что и со стороны союзников распространялась о немцах ложь, но в значительно меньшем количестве; английская и американская публицистика вела себя несравненно приличнее и честнее.

Манера немецкой и австрийской пропаганды, специально в Америке, была для нас потому важна, что мы сумели разоблачить ее методы. Я буду об этом говорить при рассказе об Америке.

Все, что здесь говорилось о немцах и австрийцах, может быть смело отнесено и к венграм.

Вопрос о виновности всюду основательно перетряхивался уже по одной той причине, что в Версале союзники официально обвинили немцев и их союзников в нападении. Я слежу за всей этой литературой и не нахожу причин для изменения своего мнения. В общем, я наблюдал, что в Германии (и Австрии) великая вина Германии и Австрии признается теперь более,

чем во время войны и в первое время по заключении мира. Повторяю, могут быть споры о разнообразных подробностях, о том, русские или австрийцы начали мобилизацию на несколько часов раньше или позже и т. д. — война 1914 года является необходимым последствием распространенного кулачного права и милитаризма, с наибольшими результатами, прямо философски и научно формулированного и пропагандированного в прусской Германии. Потому в наибольшей степени виноват в войне прусский дух.

Можно сказать, что в первую очередь вина падает на государства и их руководителей, а не на народ; признаю это, хотя здесь не место разбирать, в какой мере народ ответственен за свое государство, в данном случае, за руководящее прусское государство. Я вернусь к этой проблеме позднее.

22.

И в свободной Швейцарии испытали мы силу Австрии. Она, как и Германия имела своих представителей в нейтральной Швейцарии и, конечно, пользовалась своими положением; у наших людей были почти всюду обыски; правительство женевского кантона запретило антиавстрийскую пропаганду и высылало пропагандистов из Швейцарии. На практике запрещение проводилось довольно мирно; поэтому только чешская газета д-ра Сихравы была перенесена во Францию, в Аннемас (соединенный с Женевой трамваем) — все же остальное осталось по-старому. Однако, мы должны были быть весьма осторожными, чтобы не причинить неприятностей правительству. Позднее — в феврале 1916 г. — д-р Сихрава был все же изгнан из Швейцарии. Несколько чешских студентов, по возвращении на родину, было арестовано и даже приговорено к смерти лишь за то, что были на моей лекции и говорили со мной!

В Швейцарии, как и всюду, была сильная немецкая, австрийская и венгерская пропаганда; в Швейцарии было сильно распространено австрофильство. В Швейцарию приехал среди иных позднее и профессор Ламаш из Вены; в Швейцарии можно было завязать связь с гражданами различных воюющих го-

сударств. Свободным швейцарским убежищем пользовались не только мы, но и все остальные, главным образом, социалисты. пацифисты (Циммервальд—Кинталь!); из Швейцарии при помощи швейцарских социалистов Ленин мог уехать домой. Немецкая часть Швейцарии была в сильной степени за Германию; за Германию стояли, главным образом, высшие офицеры и командный состав.

Австрийские шпионы всюду ходили за нами по пятам. Один приехал из Праги прямо в мою гостиницу; меня о нем уведомили, однако, из Праги (вот доказательство, как наше подпольное сообщение и «Маффия» в Праге исправно действовали), и я его на другой день, как ни в чем не бывало, позвал к себе и расспрашивал о Праге и о полиции. Младшие мои друзья устраивали с ним множество шуток, некоторые вербовали его на нашу службу и, таким образом, делали из него двойного изменника. Более интересен случай австрийского офицера, по происхождению моравана, который пришел ко мне в Женеве; он уверял, что дезертировал и предлагал мне для Франции изобретение, как с летящего аэроплана наверняка можно попадать в цель. Я свел его с французами в Аннемасе; в Париже, однако, его объяснения не приняли в серьез, а потому он в Париж не попал. Я следил за ним, стараясь понять не шпион ли он; у него были шпионская романтика и фантастика: он рассказывал, что был запутан в любовную историю, которая кончилась смертью одного из членов Габсбургской семьи (история весьма хорошо характеризовала Габсбургов, и потому я ее опубликовал в швейцарских газетах). Кроме того, он знал какой-то очень сложный роман о младшем брате известного лондонского националистического редактора и тому подобные истории. Я его проконтролировал и оказалось, что это не соответствует истине. После недолговременного знакомства наш брат с Моравы исчез.

Весной в течение многих недель у меня были неприятности с рукой; на плече появились странные прыщики — доктор думал, что они от отравы; наши полагали, что это немцы пытаются кое-что со мной устроить при помощи белья. Я вовсе и не упоминал бы об этом, если бы этот случай не повторился снова

со мной в Англии, где доктор поставил тот же диагноз — отрава. Я все это приписывал недостатку движения на свежем воздухе, а потому начал ездить верхом; при верховой езде, говорят, воздуху в легкие приходит в два раза больше, чем при прогулке пешком.

Само собой разумеется, что мы главным образом боролись с австрийской пропагандой и интригами; очень часто сами враги наши помогали нам своими преувеличениями и грубостью. Я хорошо понимал тяжелое положение маленькой Швейцарии, находившейся под бесцеремонным давлением Германии и Австрии. Швейцария меня чрезвычайно занимала, как с политической, так и с национальной стороны; насколько было возможно, я наблюдал управление и отдельные учреждения.

В грубых чертах отношение трех швейцарских народов походило на национальное соотношение в будущем Чехословацком государстве (чехи—немцы—венгры). Вообще, между Швейцарией и нами есть черты сходства: Швейцария возникла из сопротивления Австрии, у нее нет моря. Самым важным для меня было, что единство республики не было нарушено во время войны, несмотря на большую разницу национальных симпатий. Многие выдающиеся немцы (писатель Шпиттелер) весьма решительно выступали против прусского духа. Я был еще прежде знаком с швейцарскими писателями Г. Келлером, С. Ф. Мейером, Шпиттелером, д'Амиелем, Зейпелем, Родем, Рамюзем; после войны я познакомился с немецким писателем Ронингером и старшим Готтгельфом. Реализм швейцарской литературы, достойный внимания, особенно у Готтгельфа еще до Келлера, я думаю, находится в связи с швейцарской демократией. Достоинства швейцарской литературы были для меня всегда доказательством, что совместная дружественная жизнь немцев и французов и швейцарский интернационализм не вредят национальности. Лингвистически и национально Швейцария является прямо классическим примером сильной национальной самобытности при интенсивной международной совместной жизни.

Хотя Швейцария и маленькая страна, она все же своим духом влияла на европейскую культуру; свой интернациона-

лизм развила она столь же интенсивно, как и народность. как это могут доказать известные международные гуманитарные организации, начиная от Красного Креста и кончая Лигой Наций. Конечно, Швейцария свободна и демократична; в Австрии и в Венгрии народы были соединены насильственно под монархическим абсолютизмом. Как раз поэтому мы можем учиться на швейцарском примере; при этом будем всегда помнить об отличиях, из коих главные состоят в том, что Швейцария есть федерация малых самостоятельных государств — кантонов, что все швейцарские национальности являются частями великих народов с самостоятельными государствами и что в ней уже с давних времен не было национальной вражды.

Благодаря тому, что Швейцария мобилизовала, видел я и кое-что из армии и мог изучить систему милиции, которую особенно рекомендовали социалисты и которую я принимал: то, что милиция была возможна, уже само по себе доказывает твердые основы швейцарской демократии.

Демократию и ее свободу внимательный иностранец может и должен видеть во всех ее проявлениях. Я посещал различные кантоны и уяснил себе соотношение федерации и демократии. Само собою приходило сравнение с Соединенными Штатами и с Германией.

Кантоны невелики, целая федерация не перегружена народонаселением, а потому развились некоторые формы непосредственного управления народа — референдум и инициатива; самые меньшие кантоны не имели даже постоянного парламента — народ сошелся и решил. Избрание правительства и президента, продолжительность должностей соответствуют несложности государственного аппарата.

Эта склонность швейцарской демократии к непосредственной власти народа нашла выражение у Руссо; этот передовой теоретик современного демократизма был как под политическим, так и религиозным влиянием своего швейцарского отечества. Ведь и женевский кальвинизм влиял по-своему на Руссо и его теорию демократии — статуя Руссо, которую я видел по несколько раз в день, оживила во мне проблему Руссо во всей ее полноте и принудила к новому чтению и пересмотру руссоизма.

IV

НА ЗАПАДЕ

(Париж и Лондон: сентябрь 1915—май 1917 г.)

23.

Настало время, когда было необходимо перенести центр пропаганды в столицы союзнических государств. Еще будучи в Праге, я утверждал, что заграницу нас должно ехать столько, сколько необходимо, чтобы находиться, по крайней мере, в Париже, Лондоне и Петрограде. Я ждал Бенеша, чтобы он поехал в Париж, а я в Лондон.

В 1915 г. Париж был военным центром, Лондон скорее политическим. Для Франции было важно привлечь на свою сторону и удержать симпатии Англии и этим влиять на Америку. Италия также была ближе Англии, чем Франция. И я решил, что буду жить в Лондоне и оттуда, время от времени, заезжать в Париж; сообщение было легкое и скорое (даже во время подводной войны); д-р Бенеш должен был изредка приезжать ко мне в Лондон. Так мы и делали. Париж и Лондон поэтому были, как политически, так и организационно неразрывно связаны, подобно тому, как единство Франции и Англии имело огромное значение во время войны и после войны. Лондон для нас был также удобен благодаря хорошим сообщениям с Америкой, которая для нас становилась все

более и более важной. В Америке развился весьма важный отдел нашей пропаганды, о чем я скажу ниже. Когда после вышеописанной неудачи, мы должны были изменить способ и манеру наших подпольных сношений с Прагой, я решил для этого употреблять курьеров из Америки и Голландии, а для связи с этими обоими государствами Лондон был весьма выгоден.

Я покинул Женеву 5-го сентября, а д-р Бенеш приехал туда 2-го; 17 сентября он уже приехал вслед за мной в Париж.

Наше политическое положение в Париже и Лондоне было не слишком устойчиво; кроме меня, заграницей еще не было ни одного из наших политических деятелей. У сербов заграницей была значительная часть депутатов, имена которых, благодаря Загребскому процессу и, вообще, борьбе против Австрии, упоминались всеми газетами; кроме того, Сербия, благодаря своей геройской борьбе, была для всех югославян и для Европы живой программой. Это была кровавая программа; зверства, производимые австрийцами и венграми в Сербии, служили на пользу югославянской пропаганде. Также у поляков была деятельная пропаганда, если даже не считать, что их эмиграция была уже давно известна, а их программа всюду принята.

О нас французы знали мало; они, собственно говоря, знали лишь то, что нам удалось сделать известным при помощи наших слабых средств. Такие случаи, как, например, выступление пражского городского головы Гроше, компрометировали нас в Париже. Парламент в Вене не заседал, а потому оттуда не было слышно чешского голоса. Правда, как для нас, бывших заграницей, так и для развития событий на родине, не было большим несчастьем, что венский парламент не собирался ни сначала, ни долгое время потом.

Австрийские, венгерские и немецкие газеты наше движение замалчивали. В парижской газете «Temps» тоже появилась недоброжелательная заметка о нас и поэтому неудивительно, что наши друзья, как Дени и Сетон-Ватсон, начинали опасаться. И тот и другой не переставали звать меня — один в Париж, другой в Лондон. Поэтому я поспешил из Женевы в Лондон и Париж, как только Бенеш, благодаря счастливой

случайности, смог приехать заграницу. Работу в Швейцарии, а частью и в Париже, мы уже организовали. В Париже выходил (с 1-го мая) французский журнал Дени, позднее (22 августа) начал издавать чешскую газету д-р Сихрава. Организация чешской газеты для нас была труднее, чем французской. Не было чешских газетных сотрудников: каждый из нас был завален своей иной работой. Деньги начинали приобретать все большее и большее значение, а моего фонда все по-прежнему не хватало. То, что в Праге не нашли путей, чтобы переслать деньги, было для меня доказательством, что они не думают о той пропаганде, которая была необходима. Правда, до этих пор мы и не делали ничего подобного, но мы и не теряли желания работать и надежды на победу. Нас было мало — пусть так, — но, значит, тем обдуманнее и интенсивнее должна была быть наша работа.

24.

Вот подходящее место, чтобы рассказать о Дени и об его участии в нашей освободительной пропаганде.

Авторитет, которым пользовался Дени у нас благодаря своим историческим трудам, был в начале войны весьма полезен в нашей парижской колонии; однако, ликвидация внутренних споров была выше его сил. Как я уже говорил, эти условия были для него новы и неожиданны. Для Парижа Дени был профессором и литератором, и среди своих коллег у него было довольно много противников. Даже в сравнительно узком кругу славистов существовали несогласия. Однако, его книга о войне принесла ему симпатии более широких кругов. В партиях и в официальных кругах у него не было политического влияния. Для знающих условия жизни не будет, конечно, слишком странным, что в политическом отношении на него косились, как на протестанта. Tout comme chez nous! Французские протестанты доказали всенародно свою верность и пошли с народом, однако, даже либералы, хотя бы и совсем слегка, подозревали их в германофильстве. Полагаю, что книга Дени могла достаточно сказать за себя, но в то время спо-

койное и точное мышление было всюду редкостью. Поэтому меня ничуть не удивило, что у нас сначала именно благодаря Дени были некоторые затруднения, которые нам удалось преодолеть лишь с течением времени. Д-ру Бенешу в вопросе о Дени удалось подействовать на правительственные круги правдой, а потом уже против него не было никаких возражений. Обо всем этом, само собою разумеется, мы никому не говорили, особенно своим людям.

Даже некоторые наши люди были настроены против Дени. на одних действовало влияние официальных кругов, другие не понимали его отвращения к партийной борьбе в нашей колонии.

Дени сделал для нас большую и весьма ценную работу в области публицистики и был полезен нам тем, что стремился организовать научное изучение славянства. Его книга о словаках была для нас драгоценным подарком. Я часто советовался с Дени о всех наших делах, особенно же о славянской политике; в общих чертах мы были всегда согласны. Между ним и Штефаником были весьма холодные отношения; с Бенешем они понимали друг друга гораздо лучше.

25.

В связи с этим скажу кое-что и о наших колониях, дабы характер нашей заграничной работы и ее цели были яснее.

Я знал наши самые большие колонии — в России, в Америке, в Германии — еще до войны. Я бывал в них довольно часто, следил за их развитием, знал лично почти всех их руководителей. Также колонии в Англии и Сербии были мне и ранее знакомы; лишь с швейцарской и парижской я познакомился теперь, во время войны.

Основной задачей было осведомить и соединить все колонии; это было затруднительно уже из-за их географического положения и рассеянности по разным государствам, не считая тех препятствий, которые война ставила всяким сношениям между странами. Внутренне они были разбиты на пар-

тии и фракции, кроме того, каждая носила особый характер, в зависимости от той страны, в которой жила. Между ними не было никакой связи, не было вначале и центрального, руководящего органа; поэтому газета, чешская газета, осведомляющая и стоящая на нашей программе, была столь необходима. Уже в апреле (1915 г.) я послал из Женевы во все колонии программу того, что они должны были делать.

Наши колонии состояли, главным образом, из рабочих; большинство из них покинуло родину в поисках заработка, значительное количество старалось избавиться от воинской повинности. В Америке и в России были также земледельцы, небольшое количество торговцев, инженеров и различных предпринимателей. Интеллигенция, приходившая с родины, далеко не всегда бывала высокого качества, что отражалось на журналистике; большинство колоний не относилось с достаточным доверием к газетной интеллигенции. Однако, в Америке и в России подростала своя интеллигенция — юристы, доктора, банкиры, инженеры и т. д. Это молодое поколение частью уже проникало в американское и русское общества, но с другой стороны, само было американским и русским. В общем, наши колонии всюду были обособленным маленьким мирком, пополнявшимся новыми пришельцами с родины и неизвестным туземным жителям. Сведения о жизни на родине, основанные, главным образом, на чтении газет, были далеко не полными. Наша иностранная деятельность принесла колониям уже ту пользу, что их новое отечество (это касается, главным образом, Америки) должно было обратить на них внимание. В зависимости от обстоятельств для наших целей принимались в расчет три колонии — американская, парижская и русская. О Париже я уже говорил; там колония была немногочисленна, но политически неспокойная и живая.

В Америке руководящая часть наших людей была свободомыслящая; в политическом отношении это был старый либерализм шестидесятых годов, удержавшийся в американской изоляции и поддавшийся влиянию американской демократии и учреждений. Это свободомыслие склонялось то здесь, то там

к социализму и анархизму; конечно, к социализму на американский манер. Против свободомыслящих выступали католики и протестанты (последние менее остро).

В России только часть старших колонистов сохранила политические взгляды того времени, когда они переселялись, большинство же под влиянием обстоятельств и правительства было консервативно и даже весьма консервативно в правительственном смысле; они вполне зависели от доброй воли русских чиновников. Особой специальностью были в России гимназические учителя, особенно филологи, которых русская передовая интеллигенция прямо ненавидела (я помню еще по дням моей юности русскую семинарию в Лейпциге, где подготовлялись к учительской карьере наши филологи). С передовой и радикальной интеллигенцией в России, с социалистами всех оттенков и с либералами у наших людей была весьма незначительная связь; поэтому этой влиятельной части русского общества они были почти неизвестны.

В России в колонии было несколько центров в зависимости от географического положения; Петроград—Москва—Киев лежат так далеко друг от друга, что уже благодаря этому между земляками не было единства. По тем же причинам в Америке Нью-Йорк—Чикаго—Клевеленд и иные города были каждый особым мирком.

Вполне естественно, что в колониях в начале войны не было общего плана действия, не было тотчас же после объявления войны и директив из Праги; но, как я уже говорил, всюду, вполне правильно, выступили против Австрии. Я всегда подчеркивал, говоря с вождями колоний, что окончательное политическое решение должно произойти в Праге — было достаточно горячих людей, желавших лично определить решение и состав руководителей, были и спекулянты. В различных кабачках Парижа и иных городов распределялись различные должности будущего королевства, начиная от самого короля и кончая последними местами и чинами. Но это были крайности, не имевшие влияния.

Всюду находились наши люди, заявившие мне о себе; из Канады, из Южной Африки и т. д. получал я взносы и по-

сылки, как только узнавали, что я организую колонии. Много прекрасных лепт было послано простыми чешскими матерями и бабками с трогательными письмами, на которых еще не высохли слезы любви и надежды... В смысле денежном наши колонии не были богаты, а потому денежные посылки из Америки получались медленно и лишь позднее пошли в более значительном количестве.

Здесь не стоит подробно излагать споры в отдельных колониях; они были, как я уже отметил, более местного, личного, чем принципиального характера. Более важными были несогласия в России между консервативным и передовым направлением; революция 1917 г. смела консерваторов и после этого настало, хотя еще и не совсем полное, но все же единство. Эти споры (начиная с лета 1916 г.) в России получили особое значение благодаря тому, что на сторону консерваторов перешел депутат Дюрих, попавший, таким образом, на службу германофильского реакционного правительства.

Дело Дюриха, к которому скоро еще присоединилось и дело Горкого, было в наших газетах в России и в Америке достаточно освещено; для меня было важно, чтобы споры решались в своей семье и чтобы иностранцы не были в них вовлечены; в общем, это удалось. Дюрих был неосторожен; в Париже им злоупотребляли сомнительные люди, хотевшие воспользоваться чешским войском; в России он подпал под влияние реакционеров и безрассудных чиновников. Я опубликовал еще в январе 1917 г. (25) заявление, что в денежном отношении мы не зависим от союзнических правительств; это должно было противодействовать нападкам враждебной печати, а также и сомнениям, которые все же кое-где возникали. Зависимость Дюриха от русского правительства производила неприятное впечатление на Лондон и Париж. Я подал об этом конфиденциальное объяснение; в Париже и в Лондоне еще слишком многие боялись панславянской России. Споры с Дюрихом и о Дюрихе возникли в Париже, но перенеслись потом в Россию и в Америку; поэтому они касались более Штефаника и Бенеша, чем меня. В конце концов, нам не осталось ничего иного, как исключить Дюриха из Национального Со-

вета, чтобы и нашим колониям все было ясно. Естественно, что с нашей стороны писалось как можно меньше об этой истории, а этим наши противники злоупотребляли и вечно нас в чем-то подозревали. Русская революция нам и в этом отношении помогла наилучшим образом.

В общем дело Дюриха нам не повредило; наши люди благодаря ему были принуждены лучше продумать основу нашего движения и его тактику; среди союзников нам помогла энергичная ликвидация дела. Особенно это признавали югославяне и поляки, у которых было много подобных дел, и которым не удавалось поддерживать так легко порядок. Я знал о таких же делах в союзнических государствах, а потому, когда мне иногда указывали на нас, или югославян, или на иные организации малых народов, я отвечал кротким указанием на socios malorum в Лондоне, Париже и Риме.

Пользуясь этим случаем, укажу на неожиданное увеличение наших колоний совершенно новыми чехами и чехословаками, примыкавшими к нам: быть немцем в Париже и иных городах было не особенно удобно, а потому всякие ренегаты, люди, говорившіе немного по-чешски, и равные другие лица заявляли о своей принадлежности к колонии, особенно с тех пор, как мы добились у союзников для наших граждан всех выгод, проистекавших из признания нас особым народом и, кроме того, народом бесспорно союзническим. Депутат Дюрих как раз и попал в руки таких «nouveaux Tchèques».

По численности для нас наиболее важными были русская и американская колонии. Американцы могли финансировать движение, в России были пленные и из них можно было образовать войско. Однако самые большие затруднения у нас были в России; в Америке для нас было очень выгодно то, что уже в самом начале войны Воска привез колонии мои осведемления; за ним, осенью 1915 г., приехал из Чехии Войта Бенеш (брат Эдварда Бенеша) с более свежими вестями; он устраивал во всех колониях собрания, мирил и соединял приверженцев различных партий и фракций, призывал к денежным пожертвованиям.

26.

Ко всему сказанному я хочу прибавить еще несколько разъяснений по поводу нашего заграничного Национального Совета.

Само собой подразумевалось, что для нашего движения прежде всего должен был быть создан руководящий заграничный центральный орган. Сперва я сам был им, следовательно далее необходимо было найти сотрудников и объединить все колонии. При разбросанности колоний вследствие войны и при затруднениях в переписке дело шло медленно. Я не хотел самодержавно объявить себя заграничным вождем и действовал конституционно и парламентски.

Меня знали лично заграницей благодаря моим посещениям колоний еще до войны; мой авторитет рос совместно с моей заграничной работой; люди видели, что я делаю, и поняли мою тактику. Я всюду рассказал, как дошло дело до моего отъезда, кто, какие партии знали и одобряли его. Всюду меня признавали вождем, при чем имело значение и то, что я был депутатом, то был мой политический титул. Но я был одинок; сотрудники, которые скоро явились, депутатами не были. Это касалось и Бенеша и Штефаника, а потому я так долго откладывал формальное создание нашего центрального органа, ожидая из Праги новых депутатов. Когда отдельные колонии сгруппировались и вступили со мной в сношения, я перестал торопиться с формальной организацией центрального органа. Мы часто говорили об этом и без усилий, само собой, по давнему примеру, у нас возникло название: национальный совет; тем не менее, я боялся употреблять это название, чтобы не повредить Национальному Совету на родине, который могли счесть главой движения и начать мстить его членам.

Однако, постепенно, в силу изменения условий, наш центральный орган должен был быть создан и формально; пришло время, когда мы должны были делать публичные заявления, а для этого был необходим общественно признанный орган.

Тут-то и начались различные «истории». Первая была с Коничком; когда он начал проповедывать по колониям мнимую программу русских чехов, признанную правительством и ца-

рем, то возник вопрос, каковы его полномочия и кто решает в спорных вопросах? С Коничком мы скоро справились, но тут явился депутат Дюрих.

Публичное выступление против Австрии, и так уж слишком долго откладываемое, послужило причиной к ускорению дела. Когда мы, наконец, 14-го ноября 1915 года издали свое заявление против Австрии, то мы подписали его: «Чешский Заграничный Комитет». Подписались представители всех заграничных колоний; заявление должно было быть всеобщим; оно исходило, если можно так выразиться, не только от заграничного правительства, но и от заграничного парламента.

Но была необходимость именно в правительстве, в руководящем центральном органе, и в течение 1916 г. был основан «Национальный Совет». Положение на родине позволяло мне уже не опасаться, что своим названием мы можем повредить тамошнему Национальному Совету. О названии и организации мы сговорились с д-ром Бенешем и депутатом Дюрихом во время моего пребывания в Париже, о чем сейчас и расскажу. Д-р Бенеш, предназначенный в генеральные секретари, исполнял свои обязанности и употреблял название «Conseil National des Pays Tchèques» в своей официальной корреспонденции; публично впервые это название употребил Штефаник при так называемой Киевской записи 29-го августа 1916 г., а 1-го ноября 1916 в «Československé Samostatnosti» было сделано заявление, что Национальный Совет состоит из председателя Т. Г. Масарика, товарищей председателя депутата Дюриха и д-ра Штефаника и генерального секретаря д-ра Бенеша. Местом пребывания был Париж.

В противовес этому Национальному Совету Дюрих, не отказываясь в то же время от своей функции, создал для России особый Национальный Совет, который, однако, был скоро погребен революцией. 20-го марта 1917 г. наша бригада объявила Чехословацкое государство; Национальный Совет был объявлен временным правительством, а я диктатором. На Киевском съезде (12-го мая 1917 г.) было, наконец, создано Отделение Чехословацкого Национального Совета в России.

Создавшийся таким образом Национальный Совет был при-

знан отдельными колониями и их избранными представителями. В Швейцарии, Голландии и Англии это само собой подразумевалось; в Париже была небольшая оппозиция, поддерживаемая тщеславием некоторых лиц, раздававших за кружкой пива высокие должности в будущей русской сатрапии. Но эти люди оказались в значительном меньшинстве и скоро начали предлагать мне свои услуги, а один-два даже деньги на революцию (эти господа дальше предложений не пошли).

В Америке у меня было с давних пор много знакомых; признание Парижского Национального Совета произошло там сразу и решительно; 15-го сентября признал его Сокол, а 14-го декабря Чехословацкий Национальный Союз. И из Южной Африки, из Кимберлея прислали нам свое признание (28-го февраля 1917 г.).

27.

Я уже указывал, что мне, к сожалению, приходилось все заграничное движение и пропаганду начинать прямо с азбуки, так как связи с политическим миром заграницей не было; с другой стороны, в этом было и свое преимущество, ибо с самого начала работа могла вестись систематически и продуманно. Так как война затянулась, наша пропаганда пользовалась успехом. Естественно, что каждый из нас завязал сношения со своими знакомыми и друзьями. У Штефаника уже был значительный круг политических и влиятельных людей; д-р Бенеш и д-р Сихрава, позднее Осуский создали свои круги. У меня были знакомые во всех союзнических государствах еще до войны и ими я постоянно пополнял свой круг.

Наша пропаганда была демократическая; мы старались привлечь не только политиков и официальных лиц, но прежде всего и главным образом печать, а при ее помощи и широкие слои. Это принесло нам пользу в демократических государствах, во Франции, Англии, Италии и Америке, где парламент и общественное мнение имели гораздо большее значение, чем в Австрии, Германии и России. Но после революции мы и в России действовали таким же способом.

Конечно, я всюду старался как можно скорее завязать сношения с правительствами, в особенности с министерствами иностранных дел; кроме того было важно завязать всюду сношения с союзническими посланниками. Но и в этом отношении был определенный выбор и планомерность. Я уже сказал, что в 1915 г. я не старался встретиться с Делькассэ; помимо вышеприведенных причин были для этого и иные доводы: из его политической деятельности мне было известно, что он является давним сторонником франко-английского союза, а это, при сложившихся обстоятельствах, и для нас было более важным, чем разговор с ним в то время, когда договор с Италией принуждал его к известной сдержанности.

Я всюду знакомился с руководящими чиновниками министерства иностранных дел, обладавшими влиянием и знанием положения. Часто для нас были полезны люди, стоявшие вдали от власти, но имевшие дружественные сношения с видными государственными деятелями и политиками, как-то — адвокаты, банкиры, духовные лица.

Из психологии пропаганды вытекает одна важная мораль: не думать, что людей можно привлечь к политической программе лишь и главным образом энергичными заявлениями о ней, а также постоянным подчеркиванием отдельных ее пунктов — наоборот важно заинтересовать людей все равно чем, часто даже косвенно. Говорите об искусстве, о литературе, словом о том, что интересует данное лицо, и таким образом вы привлечете его к себе; политической агитацией можно часто мыслящих людей оттолкнуть или, по крайней мере, не привлечь. Иногда достаточно одной фразы, брошенной при подходящих обстоятельствах; вообще необходимо избегать, особенно в частных разговорах, растянутости. Конечно, такая пропаганда предполагает образование, политический и светский опыт, такт и знание людей. Падеревский и Сенкевич с самого объявления войны вели весьма успешную пропаганду в пользу Польши — музыкант и писатель привлекали самые широкие круги. Сенкевич благодаря своему роману «Quo vadis» был очень популярен и он привлекал уже симпатизировавшую публику. Подобное значение имел для югославян Местрович. У нас таких

людей было наперечет; в Париже был Купка (вступил в легионы), в Риме был начинающий в то время художник Бразда, кажется одно время прикоснулась к этому делу и Дестинова.

Еще раз обращаю внимание: пропаганда должна быть честной. Преувеличения и ложь не помогают; и между нами нашлись отдельные лица, которые считали политику искусством обмана, они-то и попробовали распространять «патриотическую» ложь; мы это сейчас же прекратили. Всякие сведения ведь можно проконтролировать, и наши враги использовали это против нас же. У нас была, например, неприятность из-за такой фальсификации речи депутата Стшибрного.

Хочу указать еще на одно правило: ошибочно думают, что пропагандист должен хвалить все свое; это делают обыкновенные комивояжеры. Разумная и честная политика — разумная и честная пропаганда!

Я устраивал во всех государствах, во множестве городов лекции для широкой публики, чаще же для узких кругов; я также разыскивал противников, пацифистов и т. д. Я завязал сношения с университетами, особенно же обращал внимание на историков, экономистов и т. д. В Англии, как уже было сказано, нам помог Гус. Одним словом, тот, кто делает культурную политику, должен делать и культурную пропаганду.

Иностранные газеты мы привлекали при помощи бесед с редакторами и владельцами, но главным образом сотрудничеством. Я лично написал много статей; интервью было вторым подходящим средством. Мы организовывали всюду бюро печати, задача которых состояла в том, чтобы быть в постоянной связи с газетами и иными бюро печати и распространять наши сведения. Обращаю особое внимание на английское (Czech Press Bureau, основано в конце 1916) и американское (Slav Press Bureau, реорганизованное в мае 1918 г.).

Я старался как можно скорее начать издавать какой-либо политический орган печати, ведущийся, однако, научно. Это вполне было приложимо к «La Nation Tchèque» Дени; позднее у нас был совершенно научный журнал: «Le Monde Slave»; очень для нас был полезен прекрасный еженедельник «The New Europe» (выходил с 15-го октября 1916 г.). Я настаивал,

чтобы Сетон-Ватсон издавал журнал, зная его необычайный талант, его интерес к политике и широкий кругозор. У этого журнала были те же взгляды на Европу, что и у нас; в итальянской политике я был даже более скромен, чем редактор. «The New Europe» усиленно читали не только в Англии, но и во Франции, в Америке и Италии; он понемногу стал руководящим журналом и для наших заграничных организаций.

В Лондоне мы наняли на одной из самых оживленных площадей (Piccadilly Circus) магазин; мы устроили его как витрину книжного магазина и выставляли в нем карты, осведомлявшие о нас и о всей средней Европе, последние известия о нас и наших врагах, опровержения ложных известий, различные печатные произведения и т. д.

Полезным средством было также устройство смешанных обществ, например, чешско-английского; особым целям служили торговые палаты.

Мне лично приносило пользу все мое прошлое; из ближайшего прошлого моя борьба с Эренталем и работа на пользу югославян, потом, конечно, моя книга о России, так как русский вопрос становился все более современным. Книга «Россия и Европа» была многим известна в немецком переводе. За время войны был сделан английский перевод, но книга вышла с опозданием лишь в 1919 г. под названием «Spirit of Russia». Многие знали о так называемой гильснериаде и иных вещах.

Добиваясь авторитета и усиливая его, я этим усиливал и единение и крепость чешских колоний. Сосредоточение авторитета, как уже полагали древние римляне, необходимо во время войны. У нас оно было особенно нужно в виду разбросанности колоний и союзнических земель. Вопрос о руководительстве не был сопряжен ни с малейшим соперничеством: д-р Бенеш и Штефаник были лояльными, преданными и верными друзьями. Все мы высказывались одинаково, у всех нас была тождественная программа. Этим мы отличались от югославян и поляков, у которых довольно резко выступали несогласия в программном, партийном и личном отношении. Както само собой возникло некое диктаторство, но характера пар-

ламентского; что действительно иногда была необходима скорость и решительность, показывает дело Дюриха и несколько более мелких историй.

Так в конце 1916 г. чехи и словаки начали становиться интересными, и о них начали кое-что узнавать и говорить; газеты давали объявления, что у них появится интервью со мной и т. д.

Нам очень помогала Вена. Мы могли постоянно уличать ее во лжи. Преследование наших людей убеждало заграницу в правоте нашего движения — мученичество и кровь привлекали на нашу сторону; мы использовали особенно успешно арест и процесс д-ра Крамаржа и д-ра Рашина. Арест моей дочери Алисы принес нам пользу особенно в Англии и Америке — если сажают в тюрьму и женщин, значит дело нешуточное; во всей Америке женщины посылали петиции к президенту, прося его вмешаться, да и сами обратились через американского посла в Вену. Благодаря этой агитации, наше движение стало популярным в Америке и Англии.

Вообще антипропаганда, направленная против австрийской, немецкой и венгерской пропаганды, сделалась особой отраслью, в которой мы скоро отличились, главным образом потому, что хорошо знали условия жизни. Начиная с лета 1916 г. нам очень помогал американский словак Осуский, благодаря своему знанию венгерского языка и жизни. Мы понимали смысл всех сообщений и соответственно их излагали. Мы читали между строчек и в наших пражских газетах. Кроме того, у нас были свои особые сообщения с родины, которыми мы, в зависимости от обстоятельств, пользовались. Наши военные сообщения оправдали себя, и потому их очень приветствовали; благодаря им мы приобрели много друзей. Кроме того, весьма содействовало нам то, что сообщения мы давали ради самого дела, отказываясь от вознаграждений. Мы за этим весьма строго следили.

Когда эта часть пропаганды разрослась в настоящую систему антишпионажа и шпионажа, стало довольно трудно контролировать всех сотрудников; но если не считать мелких отклонений, то все у нас прошло гладко.

Совершенно особой отраслью нашей пропаганды было про-

талкивать в немецкие и венгерские газеты сообщения о том, что делается в союзнических государствах. В Австрии и Венгрии все замалчивалось о действиях союзников, а поэтому мы старались провести контрабандным путем сведения в их газеты. Удавалось и это. Осуский мог бы рассказать прямо анекдотические случаи, как под видом полемики с Америкой, он давал в будапештские газеты сообщения о той огромной помощи, которую Америка оказывала союзникам. Из венгерских газет эти сведения переходили в венские и пражские газеты.

В Америке Воска весьма ловко организовал плодотворный антишпионаж, благодаря которому добился для нас и для себя значительного политического престижа; но об этом позднее. В России были более значительные затруднения, но мы их преодолели, хотя уже после революции.

Деньгами мы не работали, т. е. никого не подкупали. Но я поддерживал приличных людей, своих и чужих, когда узнавал, что они нуждаются. Я это делал без просьб и деликатно; понятно, что в такое бурное время многие не по своей вине попали в нужду.

Мы трое — я, Бенеш и Штефаник, были вполне сознательно независимы от американского фонда. Жалованье в лондонском университете было небольшое (во время войны университет экономил), зато я получал значительные гонорары за свои статьи. Кроме того, благодаря личной помощи моих друзей американцев я был обеспечен. Д-р Бенеш, как уже я говорил в самом начале, вложил в наше «предприятие» деньги; на его личную жизнь ему тоже хватало. У Штефаника были тоже свои средства — эта независимость очень хорошо действовала на наших людей. Производило хорошее впечатление и то, что мы жили скромно; об этом ходили даже анекдоты. Были люди, которым хотелось бы иметь более блестящее представительство. Но нам этого, так называемого, представительства не было нужно, ибо мы работали; в последнее время оно пришло само собой. Когда я приехал в Америку, земляки приготовили мне помещение в лучшей гостинице; стала необходима большая квартира из-за множества посетителей. К нам можно было применить поговорку — мало денег, много музыки — мы ра-

ботали все по убеждению и с удовольствием, а потому нам хватало и малого. Мы за копейку сделали больше, чем немецкие и австрийские дипломаты за сто тысяч: такой дешевой иностранной пропаганды, кажется, нигде не было; не буду кокетничать скромностью и скажу. — не много было политических движений столь основательно продуманных, как наше*).

28.

Я выехал из Парижа 24 сентября 1915 года для постоянного, или, по крайней мере, продолжительного пребывания в Англии. Бенеш остался в Париже, оттуда он, как и Штефаник, ездил в Италию; таким образом, мы имели официальных представителей во всех главных союзнических государствах. Кроме того, в Лондоне и в Париже мы могли вести и вели переговоры с итальянским и иными послами. У нас никого не было только в России.

Почему я избрал именно Лондон, я уже говорил; также я писал уже о моей весенней поездке туда и о меморандуме министру Грею. Обосновавшись в Лондоне, я продолжал работу, начатую меморандумом.

*) Вот счет того, что я получил из Америки на наше дело:

1914—15	.....	37.871 долл.
1916	.....	71.185 ,,
1917 (до конца апр.).		82.391 ,,
1918 (до мая).....		483.438 ,,
		674.885 долл.

Во время моего пребывания в России, деньги принимал д-р Бенеш; я определяю сумму приблизительно в 300.000 долл.; таким образом, все наше движение не стоило и 1 миллиона долларов. Доллар долго держался в своей довоенной стоимости (4.50 крон). Из приведенных цифр видно, что помощь Америки повысилась лишь по объявлении войны Америкой. Деньги были от чешских колонистов, от словацких колонистов пожертвования во время войны были незначительны. Только, как президент, я получил 200.000 долл. от американских словаков, но и в эту сумму вошли пожертвования моих знакомых американцев. Эти деньги и остатки революционного фонда я роздал, как президент, в виде различных подарков и вспомоществований, о чем дан был публичный отчет.

В Лондоне университет (King's College) предложил мне профессуру по славянскому вопросу; имелось в виду привлечь и иных славянских работников и заложить, таким образом, основы для славянского отделения. Предложение это мне несколько раз от имени ректора Бэрроуза делал Сетон-Ватсон; я опасался принять место, не будучи славистом и полагая, что у меня не будет достаточно покоя для научной работы. Но, в конце концов, я все же кафедру принял. Я послушался совета моих друзей и сделал совершенно правильно. Я закончил переговоры с ректором Берроузом 2-го октября. С благодарностью и дружеским чувством вспоминаю я обо всех встречах с этим прекрасным знатоком Греции и новогреческой политики и культуры; я весьма ценил его мужество и благородные заботы об университете.

Я должен был выступить 19-го ноября с лекцией: Проблема малых народов в европейском кризисе. Эта лекция была первым политическим успехом больших размеров. Прежде всего, я был введен в широкий круг политической лондонской публики тем, что премьер-министр Асквит должен был председательствовать (по английскому обычаю) на лекции; так как он заболел, то его заменил лорд Роберт Сесиль. Эти политические кулисы были очень благотворны для нашего дела. Но и сама лекция, по существу, произвела хорошее и чреватое последствиями впечатление (а также во французской и английской брошюре). Здесь я впервые изложил политическое значение того особого пояса малых народов, который лежит в Европе между немцами и русскими. Указал я тут же в ином освещении и немецкий Drang nach Osten и русскую политику. Этим была особенно выдвинута основа Австро-Венгрии и Пруссии. Разделение Австро-Венгрии определенно вытекало, как главная задача мировой войны. Наконец, я привел, кажется, довольно удачные аргументы против страха перед, так называемой, балканизацией Европы и убедил, что малые народы тоже имеют право и возможность культурного и государственного развития.

Многие газеты напечатали отчеты о лекции, и можно было наблюдать, что она произвела впечатление. О малых на-

родах и возможной их самостоятельности стали после этого часто говорить и писать более основательно. Вообще, стала проявляться положительная задача войны, задача перестройки; дело заключалось не только в защите против центральных держав, в победе над ними — война была началом великой перестройки Средней и Восточной Европы, Европы вообще.

29.

В Лондоне, конечно, я много слышал об английском войске и, вообще, о положении на полях сражений; теперь у меня была возможность учиться у военных специалистов (английских и французских) по всем вопросам.

Я уже несколько раз указывал, как меня мучила неизвестность, будет ли война затяжной или скоро кончится. В начале войны и еще весной 1915 г., считаясь со взглядами почти всех военных специалистов, я допускал иногда, что война закончится до зимы 1915 г., но развитие действий на фронте должно было пониматься, как начало затяжной войны. Продолжалась без всяких результатов окопная война; это давало возможность воюющим державам стягивать свои силы дома, подготовлять и учить дальнейшие части войск и резервы и приспособить к военным целям всю промышленность. Начали поговаривать о более значительном участии аэропланов и подводных лодок. По получаемым теперь известиям, мне казалось неправдоподобным, чтобы союзники заключили мир без значительного военного успеха, несмотря на то, что у обеих воюющих сторон видные деятели работали в пользу мира. Битва у Марны была для нас победой, но не решающей; несмотря на это, в Германии начала проявляться известная нервность, особенно в социалистических кругах; в этом убеждали многие известия, особенно же дебаты об условиях мира в берлинском рейхстаге в начале декабря (1915 — Шейдеман). Из всех разговоров с военными всевозможных армий (иногда и пленными) я приходил к взгляду, что в военном отношении война затянется надолго; политические размышления вели к тому же выводу.

В Лондоне я также узнал довольно много о военных планах. Эти сведения не всегда были приятны, значительные различия во взглядах господствовали и в ответственных кругах. Касалось это не только специально английского предприятия — Дарданелл; мнения расходились также по вопросу о французских и русских планах. Странно было наблюдать, как не только политики, но и военные строили стратегические планы, казавшиеся невозможными и фантастическими даже для профана в военном деле.

В Лондоне я читал тогда статьи полковника Репингтона в «Таймсе» и иных газетах. В них проскальзывало недоверие не только к английскому командному составу, но и к главам союзнических войск и фронта вообще; еще большее недоверие чувствовалось по отношению к правительству дома и заграницей. Цензор, конечно, статьи Репингтона приглаживал, но я узнавал первоначальный текст; у меня были частые и удобные возможности узнавать о публицистической деятельности Репингтона и о его сношениях с военными и политиками всех партий и союзнических государств. Во многом я с ним был согласен.

В кругу близких друзей у нас были об этом постоянные споры. По их просьбе я написал для них в конце ноября (1915 г.) меморандум о военной силе обеих воюющих сторон.

Я обратил в нем внимание на выгоды и невыгоды обеих воюющих сторон и особенно подробно разобрал количественную возможность военных сил, вопрос, по которому мы постоянно спорили. В своих предположениях я исходил из того взгляда, что в Австрии и Германии до войны набор охватывал не более, чем 5—6 процентов населения, в то время, как во Франции он был на два и даже на три процента больше. Я хотел доказать, что Англия должна торопиться с мобилизацией и обучением рекрутов, дабы союзники могли превзойти центральные державы, если бы они повысили процент набора. Из известий о Чехии я знал, что наших берут гораздо больше, чем немцев; тоже было слышно и с юга, так, например, в Боснии и Герцеговине и в иных местах (в наказание) брали даже более 8 процентов. Для меня было важно доказать, что централь-

ные державы сравняются количеством солдат с союзниками, несмотря на то, что у этих вместе взятых больше населения и в начале войны было больше войска. Россия возбуждала все больше и больше сомнения. Конечно, решающее значение имеет не исключительно количество жителей и процент набора, но и их способность и возможность вооружить и снабдить солдат на фронте. Китченер и в этом отношении уже весной 1915 г. (15 марта) выразил различные опасения в верхней палате; мне, однако, казалось, что он думал больше об увеличении армии, нежели о ее современном вооружении. В общем, я дал довольно острую критику союзнической военной политики и командного состава, делая это, в большинстве случаев, не прямо, а подчеркивая немецкие преимущества; я обратил особое внимание на отсутствие единства в ведении войны у союзников. Вопрос уже и тогда обращал на себя внимание общественного мнения, но только дальнейшие неудачи на фронте превратили его в неотложную союзническую проблему, как стратегическую, так и политическую.

Мои друзья передали меморандум военным авторитетам, с некоторыми из них я позднее вел беседы. Одни признавали серьезность положения, но не имели опасений; они говорили, что англичане придут во-время во Францию, что воинская повинность, введенная 28-го октября, использована в достаточной степени. Но были и такие специалисты, которые публично требовали более значительной армии. В этом направлении действовал Репингтон; кроме того, я припоминаю уважаемого в Англии генерала Робертсона, который с самого начала войны был на французском фронте и который осенью 1916 г. выступил публично с требованием увеличить количество войска. Также Ллойд Джорж, кажется, под влиянием Репингтона, желал, чтобы была гораздо большая союзническая армия для прорыва германского фронта.

Положение на полях сражения становилось неутешительным и все более и более сложным. Россия разочаровала, и это чувствовалось всюду весьма живо; болгары присоединились в октябре (1915 г.) к врагам — в Лондоне много говорили о переговорах союзников с болгарами, и в том факте, что болгар

не удалось привлечь на сторону союзников, видели значительный неуспех союзнической дипломатии. Салоники в то же время становились новым центром союзнических сил; Салоникский план в Англии и во Франции долго обсуждали на все лады, пока, наконец, (под влиянием Бриана) он был одобрен. Первые сражения союзнических войск под начальством генерала Сарайля с болгарами начались в ноябре (1915) и кончились для нас неудачей. Сильное впечатление произвело поражение сербов Макензеном и взятие Белграда (8 октября); но впечатление не было уничтожающее, так как сербы, прямо геройски, отводили остатки своей армии через Албанию и перенесли правительство на остров Корфу.

В Месопотамии побеждали турки. На западном фронте тянулись кровавые, но ничего не решающие бои; немцы были осуждены на оборону, так как большую часть своих сил перебросили на русский фронт.

Зная волнения и опасения в наших колониях, что, быть может, мы и не выступим, а главное, для того, чтобы наши на родине не пошли на уступки, — я решился опубликовать манифест об объявлении Австрии открытой войны; я боялся отрицательного результата русского поражения и преследований на родине. Согласие на открытое выступление против Австрии заграницей было мне дано вперед кружком политиков, бывших на родине, так называемой, Маффией, которой было известно в общих чертах содержание манифеста.

Это произошло 14 ноября 1915 г., вскоре после того, как выступление Болгарии против союзников так ухудшило дело и когда положение на фронте было весьма невеселое. Манифест был, как уже было сказано, подписан «Заграничным Комитетом», представителями всех наших заграничных колоний.

При данных обстоятельствах я не ожидал от манифеста большого впечатления на союзников; тем не менее, наше выступление подействовало довольно сильно. Манифест усиленно распространяли французские газеты; г. Говэн написал о нем передовицу в Journal des Débats, английские газеты также о нем достаточно писали. В Англии нас знали меньше, чем во Франции, но сведения о нас распространялись довольно

скоро, сначала, больше в кругах интеллигенции и кругах политических и правительственных; мы этого добились не только благодаря своей работе в Лондоне и Англии, но и благодаря упомянутой работе Воски в Америке, которую оценили также и в Англии. Я об этом подробнее расскажу, когда буду говорить об Америке.

30.

В начале 1916 г. я начал подумывать о поездке в Париж. Д-р Бенеш приезжал в Лондон и делал сообщения о положении всего нашего дела; мы сговорились, что я приеду в начале февраля. Во главе французского правительства с 28 октября 1915 г. был Бриан, к которому у меня, благодаря Штефанику, был подготовлен прямой путь.

У Бриана я был 3-го февраля 1916 г. Я ему показал карту Европы и изложил свой взгляд на войну: условием перестройки Европы и действительного ослабления Германии, т. е. спокойствия Франции, является разделение Австрии на естественные и исторические части. Мое изложение было весьма сжатым, я, так сказать, дал лишь лозунги — у Бриана настоящая французская голова и он сейчас же проник в суть вещей. Главное было то, что он принял наш план и обещал его осуществлять. Я слышал от Штефаника, что Бриан был действительно привлечен на нашу сторону. О моей беседе появилось официальное сообщение; кроме того, для привлечения широких политических кругов, пользуясь любезностью редактора Зауэрвайна я дал в «Matin», в форме интервью, нашу антиавстрийскую программу. Это заявление подействовало не только в Париже, но и в остальных союзнических государствах. Я не преувеличу, если скажу, что союзники, благодаря нашей программе разделения Австрии, получили положительную сторону и в своей программе — не было достаточно победить центральные державы и наказать их денежно и иным способом. Мой разговор с Брианом произвел впечатление и в Лондоне и укрепил там наши позиции. Не только «Times», но и другие газеты напечатали благоприятные для нас сообщения (у «Matin в Лондоне

был очень умелый корреспондент). Кроме того, само собой разумеется, что и мы сами воспользовались этим большим успехом во всех газетах. То, что Бриан принял меня, весьма действовало на славянских политиков, особенно, как я скоро мог убедиться, на русских дипломатов.

В Париже я задержался почти месяц и многими посещениями поддержал и усилил действие Брианов ского шага. Это было необходимо еще потому, что наши противники — друзья Австро-Венгрии — были возмущены и усиленно принялись за работу: в Париже, так же как и в Лондоне и повсюду, было сильно австрофильское и венгерофильское течение. Решительный бой с этим австрофильством еще предстоял нам, ибо в Европе и в Америке нельзя было уничтожить одним ударом предрассудки по отношению к Австрии. Австрия для союзнических дипломатов была обеспечением от балканизации («у нас и с одним много дела, с десятью же невозможно и разговаривать») и охраной от Германии! И это было в тот момент, когда Австрия шла рука об руку с Германией.

Я не могу писать о всех своих посещениях и разговорах; для характеристики работы, однако, привожу несколько имен: министр Пишон, председатель парламента Дешанель, председатель комиссии по иностранным делам Лейг, редактор Говен, писатель Фурноль, редактор Кириелль, потом Бутру, Шерадам и многие другие.

Не могу не упомянуть приятных посещений семьи мадемуазель Вейсс, являющейся ныне редактором журнала «L'Europe Nouvelle», и гостеприимного салона госпожи де-Жувенель; у врача Штефаника, доктора Гартмана, я нашел также избранное общество. О постоянных встречах с Дени и с профессором Эйзенманом не буду говорить, они и так, само собой, подразумеваются.

31.

Мы часто встречались с Весничем и обменивались известиями и взглядами на общее положение и на вопросы, особо нас касающиеся; против Веснича в Париже был настроен, как

я мог наблюдать лично, кружок более молодых людей — в политическом отношении они были к нему несправедливы.

Интересными для меня были сношения с Извольским. Нас сблизила борьба против Эренталя; я мог, следовательно, ожидать, что он обратит внимание на наше дело. Мы говорили с ним о деле Эренталя, но он был довольно сдержан; может быть, у него уже остыл к нему интерес, как и у меня, теперь у нас были иные, более важные заботы. То, что я слышал, подтверждало мое мнение, что в Бухлове ни Эренталь, ни Извольский не высказали достаточно ясно и точно свои взаимные требования; вообще, это дело до сих пор не достаточно выяснено, главное же не установлено, действительно ли правда, что был написан протокол, как недавно утверждал московский профессор Покровский. Насколько мне известно, подобный протокол найден не был.

Об условиях жизни в России, и особенно при дворе, Извольский говорил подробно и опасался за будущее России. Я видел, что он хорошо знает двор, всех выдающихся лиц и, особенно, царя. Он критиковал в мягких выражениях, — но резко по существу, несмотря на то, что был искренно предан двору и, особенно, царю. Он был типичным образцом тех честных и умных русских сановников, которые понимали положение и осуждали его, но которые, с другой стороны, для его улучшения делали мало или чаще вообще ничего; он не мог и не хотел бороться.

Как многие другие официальные русские деятели, Извольский не имел о нас и о словаках ясного представления. Было совершенно очевидно, что он помнил лишь о славянах или «братьях» православных: объединение всех югославян не входило в его программу. Хорваты должны были остаться в стороне, даже если бы они и стали самостоятельными. В этом направлении он разговаривал довольно часто с различными лицами, которые мне потом об этом рассказывали. Было совершенно ясно, что у него не было плана относительно славян, исходящего от официальной России; выступление Бриана за нас произвело на него довольно сильное впечатление. Он обе-

щал, что будет поддерживать нас в Париже и в Лондоне; как я мог убедиться, он сдержал свое слово.

Постоянные сношения с Извольским поддерживал Сватковский, который и на этот раз приехал ко мне в Париж.

Я также встречался с русскими, принадлежавшими ко всевозможным партиям. У нас было даже организационное собрание, на котором я и д-р Бенеш указывали на необходимость установления лучшего осведомления из России и о сосредоточении русских политических деятелей заграницей. Было прямо страшно смотреть, как они были неорганизованы и как их нельзя было организовать.

От Извольского перехожу к рассказу о том настроении, которое было тогда на Западе по отношению к России. Во всех западных государствах отношение к России начало портиться. У Франции был ответственный союз с Россией и давнишняя официальная дружба; но значительная часть политического французского общества сегда была по отношению к России холодна и даже враждебна. Либералы, и, конечно, радикалы и социалисты не любили царизма и отрицали его теоретически, после объявления войны они начали отрицать его и практически в своих газетах и пропаганде. Англия в течение нескольких последних лет изменила свое отношение к России; но в широких английских кругах не переставал господствовать отрицательный взгляд. В Италии, в начале войны, на Россию и славян был неопределенный, скорее враждебный взгляд.

Поражение русской армии усилило антирусское настроение. Из многих рассказов французских и английских политиков я убедился, что Россия уверила и Англию и Францию в том, что русская армия находится в наилучшем состоянии и что Россия войны не боится в том случае, если Франция достаточно подготовлена. Русские поражения многие французы и англичане принимали, как несдержание слова и обман. Я думаю, что западные знатоки России были обязаны более критически относиться к русским уверениям. Конечно, японская война принудила русские военные руководящие круги к усиленной реорганизации армии, но делалось это в гораздо меньшей мере, чем было необходимо.

При этом настроении в Париже, профессор Дени возобновил свою прежнюю просьбу о том, чтобы я мог прочесть в Сорбонне лекцию о славянах; это должно было положить начало лекциям по славянским вопросам в таком виде, как они уже шли в Лондоне в King's College; он полагал, что моя точка зрения, если я ее изложу в Париже, успокоит политические и общественные круги, ибо будет разъяснено, что наши стремления и стремления всех славян вовсе не панславянские в смысле агрессивного русского империализма. Дени указывал при этом на неудачные славянские разглагольствования, в которые впали перед этим Коничек и некоторые наши люди. Депутат Дюрих усиливал это славянофильство разговорами о русской династии и уверениями, что чешский народ примет православие; эти его слова передавались по Парижу, как программа депутата Крамаржа, и австрофилы и все наши противники охотно за нее ухватились. (Отмечу здесь раз на всегда — австрийские и венгерские агенты легко входили в доверие наших наивных людей и выведывали все их мысли и бессмыслицы).

Я думаю, что во Франции и в Англии еще не было сглажено впечатление от слов императора Вильгельма и Бетман-Гольвега, что войну вызвал русский панславизм.

Итак, 22 февраля у меня была лекция в Сорбонне о славянах и панславизме, в которой, опираясь на правду, я указал, что славяне и русские не обладают таким империализмом, какой проповедуют немцы своим пангерманизмом. Я не был за царизм, но это вовсе не значило отрекаться от славянства, — так я принялся за устройство института по изучению славянского вопроса при Сорбонне, основали мы тут же научный журнал по славянскому вопросу (Le Monde Slave), и я всюду открыто работал с югославянами и поляками, позднее с украинцами. Мое отношение к русским на западе было всюду весьма хорошее. Мы славяне, мы ими хотим быть, но славянами европейскими, мировыми.

К причинам, ослаблявшим симпатии к русским, должны быть также причислены взаимоотношения различных русских партий во всех государствах, особенно в Париже. В конце, когда во

Францию прибыла небольшая русская армия, французы и особенно военные удивлялись ее недисциплинированности. Это впечатление было позднее, уже после моей лекции, но о нем может быть упомянуто и здесь в связи со всем тем, что было приведено ранее.

32.

Во время этого моего пребывания в Париже я был постоянно со Штефаником.

Со Штефаником я познакомился, когда он был студентом в Праге; он был беден, и я старался облегчить ему жизнь. Из Праги он отправился в Париж (если не ошибаюсь в 1904 году) и там сделался секретарем астрономической обсерватории. Его посылали с различными астрономическими научными командировками на Мон-Блан, в Испанию, Оксфорд и в далекие страны, как например в Туркестан, южную Африку и на Таити.

Я дам здесь некоторые сведения, благодаря которым может быть охарактеризована деятельность Штефаника во время войны. Это не будут исчерпывающие сведения, быть может, кое-где я и ошибусь; до этого моего пребывания в Париже я, кажется, даже письменно не сносился со Штефаником — лично мы, наверное, не встречались, иногда мы договаривались лишь при посредстве знакомых.

Как только началась война, он обратился тотчас же к своему другу, чиновнику парижской полиции с тем, чтобы чехи, словаки и, вообще, граждане славянского происхождения, считавшиеся официально австрийцами, пользовались выгодами, полученными гражданами союзнических государств. Вскоре вслед за тем он начал вести и пропаганду; он поставил себе целью каждый день привлекать по крайней мере, одного союзника на нашу сторону. Он записался добровольцем в армию; в 1916 г. принял участие в битвах у Эн и Ипра. Потом его послали в Сербию, как офицера-авиатора. В Албании он упал вместе с аппаратом и прибыл в конце ноября на какой-то особой моторной лодке из Валоны в Рим, где и познакомился с французским послом Баррером, а потом и с Соннино. Вскоре

после этого (в феврале 1916 г.) я его нашел в Париже в госпитале после тяжелой операции желудка. Как астроном, он хорошо разбирался в метеорологии и обратил на себя внимание во время войны как раз в этой области тем, что устроил на французском фронте метеорологическую станцию. Он принял французское подданство еще перед войной и потому имел доступ всюду, куда не француз не мог быть допущен. По выздоровлении он уехал в Италию для работы в нашем деле; летом 1916 г. (в июле или августе) поехал в Россию; там ему представилась возможность говорить со всеми военными авторитетами и с царем. Как курьез, привожу тот факт, что царь через Штефаника передал мне весьма дружеский привет и пожелание продолжать мою политику. И это было в то время, когда министерство внутренних дел пользовалось против меня Дюрихом. Штефанику было поручено (также и французским правительством) парализовать в России выходки Дюриха и некоторых его людей. Он пытался договориться с Дюрихом (так называемый, Киевский протокол). Из России Штефаник отправился в конце 1916 г. на румынский фронт, где организовал для Франции несколько сот наших пленных (отправлены летом 1917). В январе 1917 вернулся в Россию и по пути в Париж остановился у меня в Лондоне (в апреле 1917). В Париже у него были в то время весьма частые встречи с югославянами и итальянцами; сам он тоже заехал в Рим. Летом (июне—октябре) был в Америке, желая привлечь чехов и словаков добровольцами в армию — он ожидал большой прилив, в чем, однако, ошибся. Зато в Америке привлек на нашу сторону Рузвельта. Вспоминаю, дабы дать полную его характеристику, что во время большого митинга в Carnegie Hall в день его отплытия в Европу, у него сделался мучительный припадок его странной болезни, так что на пароход его должны были отнести на носилках. Он торопился тогда, если не ошибаюсь, в Италию.

В 1918 г. (с апреля) он был снова в Италии и, после весьма плодотворной пропаганды, заключил с Орландо соглашение 21 апреля и 30 июня. Осенью, 6-го сентября он явился ко мне в Вашингтон по пути к нашей армии в Сибири с генералом

Жаненом. В феврале 1919 г. он возвращается из России. В Сибири ему пришла мысль перевезти войско через Туркестан к Черному и Средиземному морям, — по всей вероятности, путь по русской центральной Азии и английское войско, ведшее операции в Азии против турок, внушили ему эту мысль. Но он скоро сам признал всю ее непрактичность и в Париже убедил и Фоша в необходимости перевоза войска через Владивосток. В Париже также многих убедил в том, что русские не могут вести борьбу с большевиками.

Весной 1919 г. он готовился вернуться через Рим на родину. У него было намерение переговорить с д'Аннунцио; ради этого он заехал в Венецию, но не застал его там. 4-го мая вылетел из Видема... в этот же день погиб на родной земле.

Во время моего пребывания в Париже, я каждый день встречался со Штефаником, иногда вместе с Бенешем. У нас была возможность разобрать все условия и все личности союзнических государств, важных для нашего движения и, таким образом, выработать подробный план для дальнейшей деятельности в будущем. В то время шли переговоры о том, чтобы Россия послала во Францию войско. Русские давали огромные обещания (40.000 человек в месяц), но, в конце концов, их прибыло небольшое количество и, как было уже сказано, на несчастье: русские солдаты были уже деморализованы и способствовали тому, что русское имя во Франции и у союзников было обесценено. Мы полагали тогда, что совместно с русскими мы могли бы перевозить во Францию также и наших пленных — с этим планом, одобренным французским правительством, Штефаник отправился в Россию. По сведениям, которые я получал с различных сторон, а также при помощи своего верного курьера, было ясно, что русское правительство не желает формирования и посылки нашего войска во Францию и что наши люди политически и организационно слабы. Было ясно, что кто-нибудь из нас должен туда поехать.

Мы решили, что Штефаник будет работать в Италии, чтобы мы могли и там организовать наших военнопленных и, в случае возможности, перевезти их также во Францию. Мы желали иметь как можно большую боевую единицу на одном фронте.

Конечно, был и дальнейший план: в конце войны мы должны были совместно со своим и союзническим войском достигнуть Берлина, а потом итти через Дрезден домой. В Италии Штефаник приобрел много друзей, особенно в армии, после того, как на фронте у Верхней Сочи весной 1917 выследил с аэроплана австрийские отряды, о которых Кадорна не был уведомлен и которые могли на него неожиданно напасть.

Штефаник также завязал сношения с Ватиканом, которые и поддерживал в течение всей войны; протестант, сын словацкого пастора, он хорошо понял значение для нас Ватикана в мировой войне.

Штефаник очень помог нашему делу своей пропагандой. У него в Париже скоро появился целый круг друзей и почитателей. Пропаганду он вел скорее на манер апостола, чем дипломата или солдата. Во многих весьма важных местах в Париже (к Бриану) и в Риме он подготовил путь для меня и д-ра Бенеша. Когда я вспоминаю о нем — перед моими глазами встает образ нашего словацкого кустаря-проволочника, бродящего по свету; только этот маленький словак прошел по всем союзническим фронтам, по всем союзническим министерствам, по всем политическим салонам и всем дворам. У него были влиятельные друзья в армии — Фош от Штефаника первого услышал о нас и нашей борьбе с Австрией. В среде правительственной и чиновничьей у него тоже, конечно, были и противники.

В политическом отношении Штефаник был консервативнее меня; когда я в октябре 1918 г. в Вашингтоне сделал заявление о нашей независимости, он не соглашался с программой в том виде, как я кратко ее формулировал. Он опасался, что мы не сможем успешно организовать и создать последовательно демократическую республику. Через некоторое время, однако, он признал правильность моего шага и свой протест взял назад.

Ему вредило незнание пражских условий жизни и лиц; в политическом отношении он не был всегда достаточно подготовлен. Киевский договор был формулирован так, что его, например, можно было излагать, как национальную программу, в то время, как мы постоянно выдвигали историческое

право. Для него извинением может быть то, что этот недосмотр совместно с ним допустил и депутат Дюрих.

И в Сибири он не был достаточно дальнозорким, как это доказало непонимание им действительного положения дел в войске, непонимание наших и русских людей (Колчака).

Меня лично Штефаник прямо трогательно любил. За его преданность я ему платил тоже преданностью, а за его помощь в нашем движении я был ему очень благодарен. Он заслуживает благодарности нас всех.

33.

Из Парижа я возвратился в Лондон 26-го февраля 1916 года.

В течение моего пребывания в Париже я сознал огромную разницу между этими двумя столицами во время войны. Париж производил впечатление города в трауре — столица всего мира, по выражению Гюго, стала вдруг как бы некрополем нашей цивилизации; не раз у меня бывало впечатление, что я слышу верденские пушки. За день до моего отъезда пала крепость Дуомон...

В Лондоне почти нигде не видишь следов войны; всюду спокойствие, «торговля идет обычным темпом»; только позднее наступает военное волнение, оно приходит понемногу, но всерьез — уезжают и приезжают солдаты, скоро потом и раненые; наконец, немцы со свойственной им близорукостью постарались возмутить Лондон и всю Англию своими цепелинами, бомбардирующими стратегически безразличный Лондон и другие города.

В Лондоне я провел почти два года. Я охотно ездил в Лондон еще перед войной, и теперь заранее уже предвкушал удовольствие от гостеприимства этого огромного города, в котором было больше жителей, чем во всей Чехии. Человек совершенно незаметно пропадает в этой человеческой пучине и может всецело отдаться своей работе. Я жил в северной части Лондона, в Гэмпстеде; это почти уже деревня, в город я ездил в автобусе («bus»); я любил наблюдать с верхней площадки уличную жизнь и этим как бы возмещал потерю времени. Если

же был уж слишком сильный дождь или снег, то я ездил подземной дорогой. На автомобиль у меня еще тогда не было денег.

В Лондоне я нашел своих старых, милых друзей, всех трех: мистера Стида, мадам Роз и Сетон-Ватсона. Это было дружеское прибежище и центр, из которого я день изо-дня расширял свой политический круг. Стид помогал мне в Вене во время борьбы с Эренталем и в моем предприятии Пашич-Берхтольд, с Сетон-Ватсоном нас сближала Словакия. Все три были знатоками Австро-Венгрии и всей средней Европы — тем более чувствовал я себя у них как дома. У Стида бывало не только английское политическое общество, но и французское и, собственно говоря, всей Европы, по крайней мере, союзническое и нейтральное; здесь бывали люди всех отраслей — военные, журналисты, банкиры, депутаты, дипломаты, словом, активный политический мир. Ясно припоминаю, например, автора работы о Святом Франциске Ассизском, проф. Сабатье, и многих других.

В нашем освобождении Стид и Сетон-Ватсон сыграли большую роль; их заслуга заключается не только в том, что мы могли развивать нашу программу в газетах группы Нортклиффа и что, благодаря влиянию обоих друзей, я имел доступ во все наиболее влиятельные круги Лондона, но и в том, что и Стид, и Сетон-Ватсон лично защищали нашу программу и, как английские политики и писатели, приняли анти-австрийскую программу.

Стид вскоре после моего приезда в Лондон и почти одновременно с моей вступительной лекцией опубликовал в «Edinburgh Review» (в октябре 1915 г.) программу, в которой условием продолжительного мира ставил решительное изменение Австро-Венгрии — соединение югославян и единое «чехо-моравско-словацкое» государство. После моей поездки в Париж, в том же журнале (апрель 1916 г.) Стид напечатал «мировую программу», в которой требовал, между прочим, Югославянские соединенные штаты, самоуправление Польши под протекторатом России, независимую или, по крайней мере, автономную Чехию с Моравией и Словакией, единую Румынию

и т. д. То, что наша самостоятельность требовалась с некоторой осторожностью, происходило в виду военного положения; позднее эта осторожность отпала.

Участие Сетон-Ватсона в выработке и пропаганде нашей программы выразилось в его журнале «The New Europe»; влияние этого прекрасного журнала было значительное. Влияние это можно, думаю, также определить тем, что нашлись противники, которые хотели убрать Сетон-Ватсона какой бы то ни было ценой в войска и мешали ему писать.

Печатные произведения и все заявления наших друзей находили отзыв во Франции, Италии и Америке. У Стида были постоянные связи во Франции и Италии и он часто бывал во время войны в этих государствах (читал лекции и вел иную пропаганду), благодаря чему его политические взгляды расширялись и поддерживались в решающих политических и военных кругах через его же личное влияние. Но и у Стида бывали, хотя и временные, но все же неудачи в официальных кругах; Лорд Нортклифф и «Times» вскоре после объявления войны выступили против иностранной политики правительства, «Foreign Office» целую зиму 1914—15 г. не имело никаких дел с «Times»; только весной 1915 наступили перемены.

34.

Живя в Лондоне, я никогда не прерывал связи с Францией не только через Бенеша, но и через французов, живших и посещавших Лондон; таким образом, я переживал в себе самом союз Англии и Франции. Во мне этот союз был органический, семейный, личный: семья жены — родом гугеноты из Южной Франции (Гарриг — холм в южной Франции), которая окружным путем через Данию попала в Америку. Также не случайность и то, что моя первая чешская работа в Праге касалась англичанина Юма и француза Паскаля.

С Францией я с детства сросся духовно. В тринадцать лет я начал учиться по-французски; несмотря на то, что до войны я не имел частых сношений с французами, я постоянно сле-

дил за их литературой, которую очень остро переживал. Я так подробно изучал Францию и ее литературу и культуру, что не чувствовал потребности посетить ее лично; потому до войны я там не бывал, кроме как в портах (Гавр и др.).

Обо мне иногда говорят, что на меня наибольшее влияние оказал Конт; быть может, в социологии, но его позитивизм был для меня ноэтически слишком наивен. Конт выходит из Юма, но преодолевает его скептицизм традицией, т. называемым общественным мнением. Позитивизм Конта имел сильное влияние во Франции; его учение и научный метод до сих пор высоко ценятся (например, еще математиком Пуанкарэ!); но позитивистическое стремление к ясности и точности легко впадают в односторонний интеллектуализм. Культ разума от Декарта до революции и до после-революционного позитивизма в сущности есть Кантовский «математический предразсудок» и «чистый разум», который, как и в Германии, в концѣ концов, потерпѣл фиаско — сам Конт стал фетишистом, безудержный романтизм появился и здесь и там. Нужно быть осторожным и с знаменитой французской ясностью!

Меня давно интересовала великая проблема французской революции и реставрации: Руссо, Дидро, Вольтер (его я не особенно долюбливал) и другие, с одной стороны, — де-Мэстр, а потом Токвиль, с другой. Я привожу лишь наиболее видные имена, но я знал и остальных, великих и малых, принадлежавших к обеим сторонам.

Конт занимал меня, как соединение французской революции и реставрации: основатель позитивизма и позитивистической религии гуманности, он осуществляет политику де-Мэстра...

Французский романтизм я пережил довольно сильно. Уже в ранней молодости я наслаждался Шатобрианом и всем романтизмом; замечание Коллара, направленное против романтизма, тогда меня поразило, лишь много позднее я уяснил себе нездоровый элемент романтизма. Некоторые мои критические замечания о том, что я часто называл декадентством (недостаточно правильное название), могут быть доказательством этого. Меня отталкивал в французском романтизме этот особый нервный и даже извращенный сексуализм; я думаю, что Мюссэ до сих

пор является истинным представителем этого направления во Франции. Я искал (думаю, основательно) в этом свойстве романтизма влияние католицизма на католиков только по названию: католицизм своим аскетизмом и идеалом монашества обращает слишком большое внимание на пол и чрезмерно увеличивает его значение с самого раннего детства. Этому католическому воспитанию можно приписать французский сексуализм в литературе: Франция в этом отношении может быть особенно типичной. Католизирующий поэт Шарль Герен формулировал это так: «вечная битва между огнем языческого тела и неземной страстью католической души». Не только аскетизм, но и излишний всеобщий религиозный трансцендентизм, который приводит католика, скептика и атеиста к противоположной крайности — чрезмерному натуризму. Я сравнивал французов и итальянцев с англичанами, американцами и немцами. У народов и писателей протестантских (также православных) нет этого полового романтизма и того особого кощунства, которые вызываются постоянным и очевидным противоречием трансцендентального религиозного мира и аскетического идеала и настоящего, переживаемого нами мира. Это противоречие беспокоит и раздражает. Протестантизм гораздо менее трансцендентен и более реалистичен. У Бодлэра в его романтическом соединении католического идеала Мадонны и натуралистической Венеры ловко и прямо образцово проделано то же сальто мортале, что у Конта при его капитуляции позитивной науки перед фетишизмом. Золя выкинул это сальто мортале в своем натуралистическом романе при помощи удивительной смеси непозитивистического позитивизма и грубого романтизма.

Приятно меня удивили литературные этюды Карриера о романтизме; я с ними недавно познакомился; он говорит там различные вещи, которые я говорил в своих опытах. Анализ и критика романтизма являются до сих пор великой задачей для духовного развития Франции; романтизм осудил Токвиль, а позднее Тэн и Брюнетьер, и в наше время есть целый ряд противников романтизма, как например, Сельер («очиститься от Руссо») и его ученик Лассер, потом Фагэ, Гилуэн, Морра и др.

Как уже видно по именам, сопротивление романтизму про-

исходит по разным причинам и взглядам. Вопрос становится моральным, прежде всего моральным: революция против старого режима — в конце концов, против католицизма — впадает во Франции в чрезмерный сексуализм, сексуализм болезненный, а потому и упадочный. Я вижу в этом упадке важную проблему для Франции, для остальных католических народов, да и, вообще, для современной эпохи.

Своевременность этого вопроса доказывается, по-моему, тем, что наиболее сильные французские писательницы (Рашильд — Колетт — Маркс) поддались в такой мере этому направлению.

Что будучи в Париже и Лондоне я занимался этим литературным и моральным вопросом — вполне естественно; он имел непосредственное отношение к войне: как и насколько выдержит Франция и особенно ее интеллигенция всю тяжесть войны; для меня во время войны это был важный вопрос. Я не признавал справедливым доказательства немецких пангерманистов, пророчивших окончательное падение Франции и романских народов, но и временный упадок был опасен; опасность была тем более грозной, что уменьшение населения Франции, столь возмущающее французов, находится в тесной связи с этим моральным упадком. Опасность, казалось мне, не будет отстранена даже победой союзников, несмотря на то, что в данный момент речь шла прежде всего о победе.

Как я уже указывал, говорилось много о беспорядках во французской армии, которые нельзя было объяснить лишь пацифистическим отвращением к кровопролитию; я размышлял и об этом явлении в связи с этой проблемой упадка. Говорили, что только благодаря чрезвычайной строгости Жофру удалось привести в порядок армию. Я убедился, что эти жалобы были преувеличены.

Нужно честно признать, что в противоположность упадочному настроению, ведшему к пассивности (особенно интеллигенцию и, главное, в Париже) были во Франции и сильные действенные течения. Вполне оправдалось во время войны направление национализма Барреса; совместно с Барресом, Бурже и Морра подготовляли молодежь к энергичному сопротивлению против пангерманизма. Имена Бурже и Морра свя-

заны с новейшим католическим движением; но его лучшая и наиболее влиятельная часть, именно снова среди молодежи, была демократической («Sillon»).

Католическое движение, и религиозный вопрос вообще, со времени революции и особенно от де-Местра является до сегодняшнего дня одним из главных вопросов во Франции, как и всюду; борьба за школу и за отделение церкви от государства, — являются всюду неизменно вопросом дня. Французское католическое движение теоретически не единообразно, а в лице своих главных литературных представителей (например, Клодэль, Пеги) совсем не ортодоксально; Морра, например, соединяет национальный классицизм с католицизмом, остальные иным способом пытаются создать синтез католичества с различными основами современности. Эти различные направления имели и имеют значительное влияние, в общем, они действовали освежающе; характерна смерть Пеги на фронте.

Вместе с Пеги пало на войне значительное количество молодых писателей — красноречивое свидетельство за молодую Францию всех направлений.

Наряду с политическим национализмом возникло из прежнего гуманизма и интернационализма новое направление реалистического европеизма и интернационализма, направление действенное и в смысле пропаганды очень энергичное. Со одной стороны стояли писатели, как Ромэн Ролан, Сюарес, Клодель, Пеги, к которым, в этом отношении, можно присоединить и поэта Жюль Ромэна, а на другой Жорес, также стремящийся к более конкретному интернационализму на основе нового патриотизма, не возникающего из стремлений к мщению, а наоборот, стремящегося к единению всех народов в гармоническое целое. Здесь уместно вспомнить Ренана из-за его симпатий к немецкой науке и из-за его богословских, философских и исторических работ, — в общем, я сужу о ренанизме так же, как и его критик Бурже, хотя и с иной точки зрения.

У большинства этих различных индивидуальностей и вождей новейшего французского мышления было одно общее стремление к действию — более или менее ясный протест против абстрактного интеллектуализма, позитивистического наслед-

ства и против скептицизма, представленного в наихудожественнейшей форме Анатолем Франсом; также интуиция и философия Бергсона являются попыткой их преодоления; «élan vital — ferveur, ardent sérénité — effort» и тому подобные слова были лозунгами Бергсона, Жида, Клодэля и Жорэса; Сорэль их усилил до «violence». Я вижу в этом более того, что сознают сами французы, а именно, влияние немецкой психологии, ее действенности и эмоциональности от Канта до Ницше.

Практическое доказательство этого европейского направления мысли, в котором наряду с немецкими, скандинавскими, английскими и американскими влияниями были и сильные влияния русские, я видел в антанте, в практическом единении Франции, Англии и России, позднее и Америки. Преодолеются ли благодаря этому союзу и войне болезненные побеги романтизма? Лучшие и наиболее современные умы вполне сознают важность вопроса об упадке и возрождении и непрерывно над ним работают; поэтому характерен для французской литературы род сложного романа, даже целый ряд романов, благодаря которым образ современной Франции должен быть дан через разбор всей эпохи; после Бальзака, идут романы Золя, Ролана, новейшие произведения Мартэн дю-Гар'а и др.

35.

Пребывание в Париже и Лондоне, постоянное общение с англичанами и французами, наблюдения над французскими и английскими солдатами, франко-английскими соглашениями и разногласиями, размышления над французской и английской литературой вели меня естественным путем к сравнению французской и английской культуры.

Из английских философов привлекал меня больше всех Юм — он формулировал наиболее ноэтически и сильно великую проблему современного скептицизма; сравнение с Контом напрашивалось тем, что Конт исходит из Юма (как и Кант). Но какая разница между обоими: француз возвращается к фетишизму и ищет спасения в старо-новой религии, англичанин

(шотландец!) спасается от собственного скептицизма благодаря этике гуманности (не религией гуманности, как Конт!). Католик — протестант!

Из новых философов мне был симпатичен Джон Стюарт Милль (до известной степени тоже континенец), как представитель английского эмпиризма; мимоходом вспоминаю и Бокля, на нем я уяснял себе основу истории. Дарвин был для меня великой проблемой — я отвергал и по днесь отвергаю дарвинизм, но ни в коем случае не эволюционизм; Спенсер очень интересовал меня — именно как философ эволюционизма и как социолог.

Говоря по совести, больше, чем английской философией, я занимался английской и американской литературой. Скоро я знал ее довольно хорошо; тогда начал я сравнивать, как уже говорил ранее, англичан и французов с точки зрения романтического декаданса. Уже ранее я разбирал Россетти и Уайльда, теперь в Лондоне я углублял свои познания в области кельтского возрождения и при этом проверял свой анализ французского романтического сексуализма; из новейших писателей подходящим предметом для моего изучения казался мне В. Л. Жорж, а также, более старый, Ж. Мур. Теперь, после войны, в Джойсе я вижу поучительнейший пример этого католическо-романтического декаданса — переход от метафизического и религиозного трансцендентализма и аскетизма к натуралистической и половой вещности становится у Джойса совершенно ясным.

Этого упадочного элемента, который так силен у французских писателей, у англичан нет; однако, он имеется не только у французов! Он заметен в итальянской и испанской литературе, а в немецко-австрийской он даже силен. Есть он у поляков есть и у нас. Английские историки литературы тоже удивлены этой особенностью; одни из них говорят весьма поверхностно об английской лживости и ханжестве, другие же попросту не могут найти объяснения для этого неопровержимого отличия. Англия и Франция — вот разница между протестантизмом и католичеством, между более человеческой, естественной и религиозно-трансцендентальной моралью. Поэтому в Англии

и в английской литературе нет того кризиса, который виден во Франции и во французской литературе; нет и дуализма и вечной борьбы между телом и душой. Такой писатель, как Лоуренс является исключением, а, кроме того, его упадочность скорее вычитана у Фрейда. Зато ирландцы, католики, идут в ногу с Францией. Я считаю английскую литературу более здоровой, несмотря на то, что вместе с Теном ставлю вопрос: Мюссе или Тениссон? Я отвечаю: и Мюссе и Тениссон— Франция и Англия с Америкой, но каждая из них пусть будет принята критически!

Давая это объяснение упадочного эротизма, я задал себе вопрос, правы ли те, которые видят его корни в темпераменте и расе — это определенно неверное объяснение, поверхностное наблюдение народов.

Вскоре после моего возвращения из Парижа праздновалась столетняя годовщина Шарлотты Бронтье, моей любимой писательницы: вот тоже романтика, но совершенно иная, чем у французов, чистая и в то же время сильная любовь, но ни в коем случае не столь материальная. Я снова перечитал Бронтье, а вместе с ней и Элизабет Броунинг. Только в Лондоне я понял, что у англичан, в сравнении с другими народами, очень много значительных писательниц; я еще ранее знал Гемфри Уорд, Мэй Синклер (также некоторые романы Корелли, наивности «Уйды» и некоторых других писательниц, вышедших в издательстве Таухниц), теперь я нашел их целую плеяду: Ривс, Етел, Сиджвик, Кэй-Смидт, Ричардсон, Делейфильд, Дэн, Вольф. И это еще не все. В английской литературе, начиная от Жаны Остин и через Шарлотту (и Эмилию!) Бронтье к Жорж Эллиот и Элизабет Броунинг удивительно много значительных писательниц; в сравнении с мужчинами писателями в иных землях их здесь гораздо больше (даже, чем в Америке?).

И в этом можно усмотреть признак проникновения женщины в общественную жизнь; жена освобождается от гарема-кухни; во время войны в Лондоне, как и в иных государствах, можно было наблюдать, как женщины захватывают места, ранее исключительно принадлежавшие мужчинам. После войны, когда вернулись мужчины, многое изменилось, но женщина при-

обрела права, а с ними и обязанности. Судя по газетам и по частным сведениям большое количество самоубийств падало на женщин; теперь это подтверждает и статистика, причем указывается на перегруженность и непривычку женщин к работе, на влияние одиночества и заброшенности и т. д.

В Лондоне мои сведения по истории литературы и критике я дополнял чтением самих писателей; у нас и в лучших библиотеках были все же пробелы. С. Ботлер и его юмор меня не захватили; Т. Гарди я знал лишь по сенсационным романам, теперь я его прочел целиком, так же как и Мередит (последнего я полюбил более, чем прежде); из области новейшей литературы я пополнил свои познания чтением Гисинга, Голсуорси, Уольполя, А. Беннета и Конрада; Уэльса я знал и прежде. От этих я добрался к одному из самых молодых — Свинертону; привлекли мое внимание также Хетчинсон, Лоуренс и другие.

Я считаю английскую культуру наиболее развитой, а в связи с тем, что я мог наблюдать во время войны, и наиболее гуманной; этим, однако, я не хочу сказать, что англичане сущие ангелы. Англосаксонская культура, это касается также и Америки, наиболее точно и внимательно формулировала в теории гуманитарные идеалы, на практике она их осуществляла в большей мере, чем другие народы.

Это было видно по взглядам на войну и по способу ведения войны. Об английском солдате в армии заботятся лучше, чем в других армиях, с ним и обращаются лучше; особенно хороши военное здравоохранение и санитарная служба; также довольно либерально принимались доводы против войны религиозных и моральных ее противников («conscientious objectors»). Англичане давали точные сведения о войне и не преследовали за враждебные мнения и т. д.

В какой мере все это находится в зависимости от богатства Англии? Ни один город в Европе не производит такого впечатления богатства, как Лондон; я проехал и прошел пешком весь Лондон во всех направлениях — почти всюду у домов приличные дверные ручки, много блестящей бронзы (разные дощечки с фамилиями, надписями и т. д.); заборы у садов всюду в порядке

— в этом я видел богатство Англии гораздо нагляднее, чем во всевозможных статистических таблицах.

Приняв кафедру в Лондонском университете, я должен был отдавать свое время не только делу пропаганды, но и лекциям. Тогда я это считал весьма неприятной помехой, но теперь вижу, что Сетон-Ватсон и мистер Борроуз поступили правильно, усиленно рекомендовавши мне это профессорское место.

36.

Когда я в достаточной степени ориентировался в Лондоне, то я начал делать визиты официальным лицам. Одним из первых, кого я стал разыскивать, был теперешний английский посол у нас Сер Джорж Россель Клэрк в министерстве иностранных дел. В скором времени я также посетил бывшего посла в Вене сера Мориса де-Бонсена, а после него ряд секретарей и других чиновников министерства иностранных дел, равно как и государственных деятелей. Между прочими, вспоминаю мистера Кэрра, секретаря Ллойд Джоржа, а вместе с ним кружок, образовавшийся вокруг серьезного журнала «Round Table», с некоторыми из них я потом познакомился лично. Этот журнал печатал весьма серьезные и научные статьи о нас и вообще об европейских проблемах. Из депутатов назову мистера Уайта, друга Сетон-Ватсона, вскоре сделавшегося усердным сотрудником «The New Europe», сэра Самуэля Гора и др.

Я продолжал, кроме того, расширять свои газетные знакомства; этому помогли в высшей степени как раз м-р Стид и мадам Роз: я не только познакомился лично с выдающимися журналистами и владельцами газет (назову лишь Нортклифа, м-ра Гэрвина из «Observer», д-ра Диллона, м-ра Г. Вильямса), но мог и лично сотрудничать в газетах при помощи статей и интервью. Я встречался не только с английскими, но и с французскими, американскими и многими другими журналистами.

Время от времени я старался встретиться с выдающимися людьми в различных областях. Припоминаю, например, свой визит к сэру Е. Винсенту Эвансу, известному знатоку критской

культуры, но одновременно и знатоку Балкан, особенно югославянских. Приятно мне также вспомнить и профессора Виноградова. Я имел случай также несколько раз видеться с лордом Брайсом; его труд о средневековой империи и книга об Америке дали возможность поговорить о Германии и ее военных планах. У Брайса я встретился с Морлеем, и его книга о Гладстоне привела нас сейчас же к спору об Австрии (известное замечание Гладстона об Австрии). Тотчас же по приезде в Лондон я посетил м-ра Мориса, известного автора чешской истории; у него я познакомился с кругом писателей интересного оттенка, все больше пацифистов. Припоминаю еще историка проф. Голанд-Роза, проф. Бернарда Пэрса и других; с историком м-ром О. Броунингом я был в литературных сношениях. Особо отмечаю молодого и старательного Р. Ф. Юнга.

Приятное воспоминание из числа политиков оставил у меня Нестор английского социализма Гайндман; он пользовался всеобщим уважением за глубокое знание не только социалстического движения, но и всего европейского вопроса. Госпожа Гайндман в свою очередь интересовалась Украиной.

Я должен также вспомнить проф. Саролеа, родом из Бельгии, бельгийского консула в Эдинбурге. Я знал его давно, как лично, так и по его значительной литературной деятельности. Перед войной он написал труд, в котором доказывал, что Германия скоро спровоцирует войну. Он издавал прекрасный, популярный еженедельный журнал «Everyman», в котором отвел нам много места для нашей пропаганды.

Встречался я также с Бэкстоном, другом болгар; я, вообще, не избегал лиц иного и даже враждебного направления.

На одной лекции я познакомился с госпожей Грин, вдовой известного историка; она активно выступала в ирландском движении. Как раз в это время завершилась судьба несчастного ирландца Кэзмента.

Я хочу в связи с этим указать, как наши противники следили за мной и пользовались каждым случаем, чтобы истолковать его против нас. В некоторых газетах, выходивших в Ирландии, внезапно появилось сообщение, что я приеду туда, дабы иметь возможность принять участие в ирландском дви-

жении. Но австрийские или немецкие агенты так пересолили в своих заметках, что не нужно было и опровержений.

В Лондоне застрял доцент нашего университета д-р Баудыш, изучавший ирландский язык и, вообще, все кельтские наречия в Британии. Заботясь об его интересах, я говорил с госпожей Грин об издании его работ. Кроме того, я в течение дальнейшего времени познакомился с другими ирландцами, которые были на казенной службе или по делам в Лондоне; например, с мистером Фитцморисом, знатоком Турции и Балкан. Если бы у меня было время, то я бы охотно поездил по Ирландии; ирландское движение я знал по литературе (изящной) и политике; у нас были старые симпатии к ирландцам. Меня занимал, главным образом, вопрос: до какой степени и как проявляется ирландский характер у современных ирландцев, уже по-ирландски не говорящих? Английские писатели очень часто указывают в своих характеристиках на кельтский элемент расы и крови. Живет ли народ (я употребляю известное выражение) когда уже умер язык? Эту проблему, как я помню, однажды весьма остро, для себя и для ирландцев вообще, поставил Джордж Мур.

Упомяну еще о госпоже и девицах Панкхёрст, с которыми я познакомился. Оне проявляли интерес к нашему движению и поддерживали нас в своих кругах.

Я посещал довольно регулярно интересные лекции и собрания, например, м-ра и м-с Сидней Вебб, с которыми совместно выступал также Бернард Шоу. Шоу, само собой разумеется, уже ранее занимал меня с литературной точки зрения: теперь, я познакомился с ним, как с политиком и пропагандистом (пацифистом). На таких же собраниях я познакомился с Честертоном и его братом (антисемитом). Я также пошел посмотреть на владельца «Johna Bull», национального крикуна и сверхпатриота Горация Ботомли; у этого господина уже перед войной были какие-то темные денежные истории, из-за которых он должен был отказаться от депутатского звания; во время войны он стал глашатаем Джон Булля и достиг, благодаря своему влиянию, даже пересмотра своего старого процесса. Он был бесспорно талантливым человеком, типичным эксплуа-

татором патриотического чувства во время войны; он добился даже того, что английский генералиссимус официально пригласил его в свой штаб (patriotism is the last refuge of a scoundrel — говорил еще Джонсон).

Уровень собраний, особенно дебатов, был довольно высокий; все спокойно выслушивали и опровергали доказательства противников.

Наша пропаганда шла успешно: уже упомянутое бюро и витрина действовали очень хорошо. Мы пользовались историей чешско-английских отношений, начиная с брака нашей Анны с Ричардом II (1362 г.); потом шел Виклиф и его отношение к Гусу и нашей реформации; особенно же мы указывали на Коменского и его интерес к английским школам, так же как и на американских и английских потомков чешских Братьев и на Голара. Не забыли мы герб и девиз принцев Уэльских, ведущих свое существование от короля Яна и битву у Креси. Все это превосходно действовало, особенно же то, что у нас имеются общие культурные связи.

Хочу еще вспомнить об одном инциденте. В Лондоне вышла книга графини Занарди-Ланди: графиня утверждала, что она и есть дочка императрицы Елизаветы и несчастного баварского короля (на последнее лишь намекает). Книга произвела (конечно, больше всего в так называемом обществе) сильное впечатление, полиция заинтересовалась писательницей; нашелся брат писательницы, который утверждал, что его сестра занимается мистификациями и шантажем. Я был приглашен к президенту полиции, очевидно, как лицо хорошо знающее Вену, а потому могущее высказать свое мнение; был у него и вышеупомянутый брат, приводивший доказательства своих утверждений. За графиню (замужем за графом Занарди-Ланди) больше всего говорила ее фотография, приложенная в начале книги и представляющая ее и ее двух дочерей — у всех трех в лицах был прямо бросающийся в глаза аристократизм. Я знал книгу, но не мог ничего решить, несмотря на то, что у меня были различные сомнения. Случайно, графиня жила рядом с моим домом — я мог наблюдать за ней несколько раз на прогулке, не будучи ею видим, и пришел к убеждению, что прав

был брат. Сходство с ним, а также какой-то еврейский элемент во всем поведении дамы были разительны.

Если я еще упомяну, что посещал различные церкви (между прочим, меня с давних пор занимало ритуалистическое движение), слушал проповеди и наблюдал людей при исполнении обрядов (вопрос: как действовала война?), то этим полностью я исчерпаю свою деятельность в Лондоне.

37.

Постоянной заботой для меня была Россия и ее судьбы; время от времени я искал встречи с русским послом Бенкендорфом. В Лондоне также жил правительственный журналист Веселицкий, известный под именем «Аргус»; познакомился я также с эмигрантом Дионео и Кропоткиным (профессора Виноградова я уже упоминал выше). Из России приехал (в апреле 1916 г.) Милюков и члены Думы с Протопоповым; мы договорились с Милюковым об анти-австрийской программе, в этом же направлении он вел переговоры с Бенешем в Париже, а потом и сделал свое заявление. Позднее он приехал читать лекции в Оксфорд, и здесь у нас снова был случай заняться подробным разбором политики и войны. Наконец, упомяну об Амфитеатрове, который ехал из Италии через Лондон в Петроград (конец ноября 1916 г.); он должен был начать издавать протопоповскую газету и сам себя уверил, что сможет вести ее в либерально-радикальном духе. На всякий случай, я дал ему статью, в которой разъяснял русским необходимость уничтожения Австрии. Это нужно было объяснять в России, так же как и на Западе, потому что у многих русских все еще существовала смутная идея малой или меньшей Австрии, в которой мы бы могли играть главенствующую роль. Сазонову через белградского проф. Белича я послал письмо, в котором рекомендовал депутата Дюриха.

Об условиях жизни чехов в России я был осведомлен письмами из России, своими особыми курьерами и целым рядом русских и наших людей, приезжавших в Лондон. Одним

из первых был доктор Пучалка; он работал также в пользу наших солдат в Сербии. Приехал также редактор Павлу; теперь у него был удобный случай своими глазами посмотреть на быт в Англии и Франции и убедиться в отношениях Запада и России. Упомяну еще Реймана, Ванька и проф. Писецкого. Я представлял себе довольно ясно условия жизни в России, в нашей колонии, и ее вождей.

В Лондон приехал также в 1916 г. Дмовский; мы во многом соглашались с ним. Он понял, что существование Австрии будет и для поляков постоянной опасностью. О Силезском вопросе тогда еще много не говорили, да, кроме того, в отношении к нашим общим целям это был весьма второстепенный вопрос; я вел с ним позднее по этому поводу переговоры в Вашингтоне.

38.

Югославян в Лондоне было много; они сделали из Лондона главный политический центр, особенно хорваты и словинцы: Супило, Гинкович, Вошняк, Поточняк, Местрович и др. Я уже упоминал, что в Лондоне был организован заграничный Югославянский Комитет. Из сербов приехал, как посол, в Лондон Иованович, знакомый мне по Вене; перед ним в посольстве был мой хороший знакомый Антониевич. Из лондонских сербов нужно еще упомянуть писателей, профессоров: Савича и Поповича, а также отца Велимировича с его умелой церковно-политической пропагандой. В апреле (1916) приехал наследный принц с Пашичем; с обоими у меня были дружеские разговоры и договоры.

Отношение Италии — Лондонский договор — было все время жгучей темой для югославян и для меня. Этот вопрос стал потому таким неотложным, что итальянцы и в Лондоне не ленились и договор защищали. Мое мнение было таково, что при окончательных переговорах о мире Италия уступит; Италия, конечно, не могла принять участия в войне без вознаграждения, и весь вопрос заключался в том, нужно ли для нас всех и для победы союзников участие Италии? Что будет, если выиграют

Австрия и немцы? В таком случае положение югославян на долгое время ухудшилось бы. Друзья югославян, за малым исключением, весьма резко восстали против Италии; в тактическом отношении было полезнее, чтобы, по крайней мере, часть была более мирной и поддерживала сношения с итальянцами. Официальная Сербия держалась спокойно, но это подавало опять хорватам и словинцам повод к недоверию, а часто и жалобам на официальную Сербию, что она, как и Россия, изменяет югославянским и славянским интересам вообще.

Лондонский договор имел еще значение и потому, что благодаря ему, по желанию Италии, римская курия была исключена из мирной конференции; в этом отношении ни хорваты, ни словинцы не разделяли наших чувств.

Вопрос об отношении к Италии, при ее вступлении в войну, приобрел для нас большо значение ещ и потому, что у нас в Италии, воюющей с Австрией, скоро оказалось значительное количество пленных; в Италии мы могли, как и в России, организовать легионы из пленных. Связь с Италией поэтому представлялась для Национального совета весьма важной; как уже было сказано, Штефаник, по обоюдному соглашению, занялся Италией, также Бенеш ездил в Италию и был в постоянных сношениях с итальянским послом в Париже. Работая в полном согласии с югославянами, я постоянно принужден был сталкиваться с итало-славянским вопросом.

Наша колония выступала совместно с югославянами; например, в августе 1916 г. мы устроили совместный митинг против Австрии, на котором председательствовал виконт Темпльтоун и выступал Сетон-Ватсон и др.

Споры об Италии, как я мог наблюдать, поддерживали старые разногласия сербов и хорватов; появились затем и личные несогласия; споры приобретали уже такой характер, что начинали вредить доброму имени югославян.

У югославян были горячие защитники в лице Сетон-Ватсона и Стида; оба в итальянском вопросе выступали за точку зрения Югославянского Комитета. Сетон-Ватсон организовал англо-сербское общество взаимности, имевшее большое значение; по этому же образцу немного позднее было устроено и англо-

чешское общество. В Париже организовался (весной 1917 г.) Черногорский Комитет, имевший антиправительственное (антикоролевское) направление; в марте он издал свою программу национального единения.

Я бывал часто с Супилой, помогавшим мне некогда против Эренталя; вообще, мои прежние выступления за югославян (за Боснию и Герцеговину в 1891—1893 г.; процесс загребский и Фридъюнга; борьба с Эренталем и процесс в Белграде) давали мне особое положение среди всех югославян. Супило был в России уже в 1916 г. и вернулся оттуда в весьма повышенном настроении из-за того, что Россия согласилась с Лондонским договором; подробнее об этом расскажу в главе о России, сейчас я вспоминаю лишь наши лондонские встречи. Наши отношения начались в Женеве. Очень скоро Супило разошелся не только с русскими и сербами, но и Югославянским Комитетом; много труда стоило мне примирение — за день до моего отъезда в Россию он обещал мне, что помирится. Я не предчувствовал, что мы тогда виделись в последний раз; свое обещание он сдержал.

39.

Чешская колония в Лондоне и в Англии вообще была невелика; несколько личных споров было разрешено уже во время моего первого пребывания в Лондоне. Я встречался обыкновенно с соотечественниками у Сикоры (в ресторане); у него и у Франтишка Копецкого при защите интересов наших соотечественников было много возни с английскими учреждениями; Копецкий, кроме того, посвятил себя агитации за поступление в английскую армию, сам он подал этому первый пример. В июне (1916 г.) приехал из Америки молодой юрист Штефан Осусский; через некоторое время он отправился во Францию к д-ру Бенешу; он скоро выучился по-французски и стал полезным работником в нашем движении.

16-го августа в Чехии умер Гурбан-Ваянский; я часто о нем вспоминал — падение России должно было ужасно дей-

ствовать на него, ибо Россия была для него единственной звездой и надеждой. Только позднее узнал я, как он мучился и какие надежды возлагал на мою заграничную деятельность. Ваянский пострадал наше некритическое руссофильство, его жизненное разочарование было как бы жертвой за нас всех — подобного же разочарования дождался бы и целый народ если бы мы пошли его путем...

Из своей, уже более личной жизни, вспоминаю новое заражение крови! Доктора в Лондоне не могли объяснить мне этого факта. В неприятном инциденте была та хорошая сторона, что мне нашли сиделку, родом из Уэльса; таким образом, я имел возможность услышать многое из уэльской народной жизни. Моя сиделка знала также Ллойд Джорджа, который посещал уэльскую церковь и даже иногда в ней говорил. По совету докторов я поехал на некоторое время к морю в Борнемут; здесь мне сделали операцию, хирург уверял, что отравление произошло от белья. Было возможно предположение, что таким образом на меня покушались мои австрийские враги. Что они за мной следили, у меня были доказательства еще в Женеве, а позднее и в Лондоне. На всякий случай, я всюду посещал тиры и упражнялся в стрельбе из револьвера; по всей вероятности, я бы это делал и без того, — я всегда охотно стрелял в цель и радовался, когда точно попадал. Для моей безопасности было довольно того, что мои шпионы видели, как я готовлюсь.

Хочу еще указать на то, что в мою квартиру забрались воры; по всем признакам это были агенты, которые хотели познакомиться с моим архивом. Благодаря счастливой случайности им помешали; на будущее время я, по совету полиции, ко всем входам в дом приделал электрические звонки.

40.

В Лондоне, как и всюду, я посещал кинематографы из-за военных фильм; в них показывали войну и все отрасли военной техники, начиная с самых подготовительных работ на за-

водах и верфях и кончая окопами; французы давали более политические пьесы. Французское и английское общество наслаждалось сентиментальностями, но английские и американские фильмы не были такими грустными, как французские.

В Лондоне, позднее в Америке, я наблюдал при появлении на экране политических и военных особ, что более всего приветствовали бельгийского короля, больше, чем Жофра и Фоша. В Англии и в Америке народ шел воевать из-за Бельгии.

Наблюдая эти фильмы, я осознал, что в английской новейшей литературе есть значительная доля кинематографизма: у Гарди, Мередита и др. — пристрастие к загадкам и детективным сложностям; немцы, а подобно им и мы, наученные и испорченные русскими, анализируем и копаемся в душе, разыскивая где и что в ней есть таинственного и болезненного; англичанин и американец все еще много наивнее, их занимает ребус более механический. Но и они уже основательно подпорчены современными теориями, проблемами и сверх-проблемами, а в некоторых случаях даже смешной психологией Фрейда; смотри упомянутого м-ра Лоуренса, который иногда становится подобным Барбюсу и Эгеру! Кроме того, и в прежней французской литературе — Бальзак! — есть уже роман детективный, роман приключений.

В кинематографе легко было смотреть на окопы и окопную войну, — но у Вердена целыми месяцами, с конца февраля 1916 и весь 1916 год, велась ужасная, кровавая война. Немцы не добились победы и это характеризовало военное положение и означало, что будут дальнейшие затяжные и кровавые бои (на Соме). Если в 1915 г. восточный фронт стал для развития общего положения важным в стратегическом отношении, то в 1916 г. вся тяжесть пала снова на французский фронт; в России немцы осуществляли свой пангерманский план — в начале 1917 г. они заняли Митаву. Главой германской армии в августе 1917 г. был поставлен Гинденбург и Людендорф; в командном составе французской армии в этом году также произошли важные перемены: в декабре был назначен Нивелль генералиссимусом вместо Жофра, вознагражденного титулом маршала. Фош же стал начальником генерального штаба.

Начиная с апреля 1917 г. генерал Нивелль пытался прорвать немецкий фронт — но тщетно, человеческие потери были слишком велики. Немцы (в марте 1917 г.) сократили фронт (Siegfriedstellung) и с 1-го февраля начали беспощадную подводную войну.

С 1916 года начали приходить на фронт прекрасные английские войска, и, несмотря на то, что вначале они оставались в Бельгии и на севере, все же их приход чувствовался по всему французскому фронту. В 1916 году стало ясным, что у союзников перевес и снарядов и, вообще, боевых припасов; немецкая армия начала становиться нервной и терять веру.

Я наблюдал, как возростала английская армия, я видел наборы, жизнь в казармах и лагерях — я сердечно любил этих «томми». Через Лондон проезжали также канадцы; меня занимали канадские французы и их язык, а потому я их и разыскивал.

Континентальному наблюдателю должно было бросаться в глаза, насколько лучше было все устроено в английских войсках; американцы в этом отношении превзошли даже и англичан. Вообще, за американцами и англичанами должно быть признано одно доброе свойство и притом свойство весьма важное: постоянство и стойкость. М-р Стид всегда нас и друзей Англии утешал: англичанин тяжело раскачивается, но потом уже в таком состоянии и остается; то, что написала М-сс Гемфри Уорд об английских усилиях в деле войны, совершенно правильно.

Неожиданную смерть Китченера многие восприняли, как неблагоприятное предзнаменование; однако, отступление от Дарданел (18 января 1916 г.) и поражение у Кут-ель-Амара в Месопотамии (28 апреля) произошли до его смерти (5-го июня). Гибель крейсера «Hampshire» произошла от мины, а не от подводной лодки, так как отъезд маршала держался в полнейшем секрете; тем не менее, высказывались опасения, что секрет был как-то выдан и что Китченер стал жертвой подводной лодки. В нашем кружке думали, что если, действительно, выдали тайну, то выдали ее в Петербурге, ибо Китченер ехал туда по приглашению царя для разработки

русского стратегического плана против австрийцев. О дарданельском эпизоде в Лондоне очень оживленно спорили; весьма возможно, что была сделана ошибка, но отважная попытка действовала возбуждающе. Морская битва у Ютландии (31-го мая — 1-го июня 1916 г.) в Лондоне наперед считалась проигранной англичанами; только при дальнейшем расследовании вопрос был выяснен. Одно несомненно, что после этого поражения немецкий флот более не решался на морское наступление.

В Месопотамии англичане возместили свои прежние поражения взятием Багдада — для меня это была весьма приятная брешь в пангерманском: Берлин—Багдад. Был взят также и Иерусалим. На Балканах генерал Саррайль вел со стороны Салоник весьма успешное наступление; благодаря этому могли быть применены остатки сербского войска, что с политической точки зрения было весьма важно для Сербии.

Итальянцы потерпели поражение в Тироле, но наступали на Изонцо и взяли Горицу: нужно отметить, что Италия (в конце августа 1916 г.) объявила войну Германии.

В России (июнь—ноябрь 1916 г.) Брусилов произвел наступление на немцев и австрийцев и потом победоносно шел вперед (Луцк!); он взял в плен сотни тысяч австрийцев и среди них много будущих наших легионеров, но он скоро должен был остановиться; несмотря на это, благодаря его наступлению было облегчено положение французов, так как некоторые части должны были быть переброшены с запада на восток; точно также облегчилось и положение итальянцев, когда австрийское наступление, начатое так удачно в половине мая в тирольских горах было остановлено, главным образом, из-за того, что австрийские войска должны были быть направлены на русский фронт. Румыния, после долгих переговоров с Россией и союзниками, тоже была привлечена на их сторону русским наступлением и объявила войну (27 августа), но после скорого наступления на Сибинь Макензен в конце года уже взял Букарест.

Несмотря на временный успех Брусилова, 1916 год принес полное отступление славянских войск — Россия была окончательно побеждена; поражение Сербии в конце 1915 г. было

в январе 1916 года довершено поражением и оккупацией Черногории. 15-го января 1916 г. у меня записано в дневнике: Берлин—Багдад: первый балканский поезд: Берлин—Вена—Будапешт—Белград—София—Константинополь!

В апреле (1916 г.) начинается восстание в Ирландии; Ллойд Джордж стал военным министром (6-го июля) и премьером (7-го декабря). Для России было характерно, что премьером стал Штюрмер (2 февраля — 23 ноября). Бенкендорф в нем видел опасного германофила. В Австрии немцы начали подражать венграм, 11-го октября 1915-го года возникла «Австрия», прозябавшая три года: смерть графа Штюргка (21-го октября 1916 года) и Франца Иосифа (21-го ноября 1916 года) были предзнаменованием скорого падения.

1917 год стал, как в политическом, так и в военном отношении решающим для всех народов. Прежде всего, конечно, для России. Что Россия накануне бури, поговаривали уже довольно давно; Штюрмеровский режим был осужден всеми. Несмотря на то, что русская цензура немилосердно задерживала все сообщения, шедшие в Европу, о внутренних беспорядках, все же в России было слишком много англичан и французов, посылавших и привозивших тревожные сведения. Члены русской Думы, во время своей поездки на Запад, обращали внимание Лондона и Парижа на положение в Петрограде и в армии; позднее речь Милюкова против Штюрмера (14 ноября 1916 г.), завершенная вопросом: «что это, безумие или измена?» — осветила положение и более широким кругам.

Как вначале понималась русская революция, видно из того, что ожидалось, что после падения германофильского режима, Россия поведет войну лучше и успешнее.

Другим событием, чреватым последствиями, было решение Америки присоединиться к союзникам в борьбе против центральных держав и объявление ею войны Германии.

Наряду с борьбой на суше, с самого начала войны все более и более разгорался морской бой между Англией и Германией. Об этой борьбе обыкновенно менее помнят, но, в действительности, она была весьма упорна и имела большое значение для исхода войны. Германия своим чрезмерным стро-

ительством военного флота и своим стремлением оккупировать все моря, провоцировала Англию, которая сейчас же по объявлении войны начала блокировать Германию и ее союзников, дабы сделать невозможным подвоз сырья и пищевых продуктов. Англии помогал французский флот. Германия ответила на это подводной войной. Не буду подробно распространяться о развитии этой морской борьбы, я хочу лишь напомнить, что Америка почувствовала в ней опасность для своего флота и торговли. Уже 6-го августа 1914 года она сделала попытку быть посредником между обеими воюющими сторонами — однако, безуспешно. Когда 15-го февраля 1915 года Германия объявила английские воды фронтом, то Америка сейчас же заявила протест; протесты повторились, когда жизни американских граждан начали угрожать немецкие подводные лодки. Немцы же, наоборот, стали усиливать свои подводные нападения (с февраля 1916 г.), пока, наконец, не перешли к ничем несдерживаемой борьбе (с 1-го февраля 1917 г.). Америка была возмущена Германией. Отвращение к Германии усиливалось в Америке еще благодаря немецкой и австрийской пропаганде и борьбе с американской промышленностью и торговлей в самой же Америке; об этом я сообщу подробнее, когда буду излагать наше участие в борьбе с этим немецким движением.

Немецкие подводные лодки вначале одержали довольно значительные успехи; с весны 1917 года в Англии все увеличивались предостерегающие и весьма пессимистические голоса, ожидавшие голодовки, а, следовательно, и капитуляции Англии. Среди этих пессимистов был также и Ллойд Джордж.

Находясь с осени 1915 года в Англии, я, естественно, с живым интересом следил за борьбой Германии и Англии на море; в Лондоне мое внимание было постоянно обращено к ней, хотя бы потому, что она ежедневно отражалась на домашнем хозяйстве. В Лондоне горячо спорили о возможности немецкого нашествия; она официально допускалась еще даже весной 1918 года; этот вопрос имел большое значение потому уже, что было необходимо определить то количество войска, которое должно было остаться в Англии и, следовательно, не могло быть послано во Францию.

Поэтому я следил с понятным интересом за американскими заявлениями; эти протесты носили решительный характер еще перед потоплением «Лузитании» (7 мая 1915 г.), еще более резкими они стали в нотах о «Лузитании». Припоминаю еще американскую ноту против Австрии из-за потопления «Анконы» австрийским миноносцем (в декабре 1915 г.). В 1916 г. последовали ноты по случаю потопления французского парохода «Сюсекс» и, наконец, объявление войны 6 апреля 1917 года. Этим несомненно были уравновешены не только успех немецких подводных лодок, но и немецких войск на суше. В этом была моя непоколебимая надежда, когда я решился съездить на некоторое время в Россию.

41.

Наша постоянная и неустанная пропаганда всюду приносила свои плоды. В политических кругах нам основательно помогал уже упомянутый журнал Сетон-Ватсона «The New Europe». В публичных выступлениях союзнической печати и политиков все более и более ясно заявлялась наша анти-австрийская программа и подчеркивалось право малых народов на самоопределение. Конечно, в Англии внимание к малым народам было привлечено сначала нападением на Бельгию.

Однако, напряженное положение на фронте продолжало непрерывно беспокоить. Немцы шумно распространяли сведения о своих победах, но в то же время начали делать предложения о мире. Можно сказать, что они уже не были уверены в возможности удержать победу в своих руках. Теперь мы знаем, что уже в конце 1916 г. Людендорф и другие считали, что положение на фронте тревожное (быть может, этими опасениями они хотели добиться усиления подводной войны?). В предложении ясно просвечивала мысль — отступить из Франции, но зато удержать восток — Россию. Император Вильгельм поручил 31 октября 1916 г. Бетман-Гольвегу разработать план мира; 12-го декабря немецкий канцлер подал американскому, швейцарскому и испанскому послам свое предложение. На эти предложения, первым ответил отрицательно Бриан, а за

ним и остальные союзнические политики; 30 декабря все союзнические правительства ответили коллективно.

Новый и важный политический деятель выступил в это время на сцену в лице президента Вильсона; 7-го ноября 1916 г. он был снова избран в президенты, что и придало ему большой вес. Уже 21-го декабря он обратился к воюющим народам с вопросом о возможных условиях мира. В этом своем послании он подчеркивает право малых народов и государств на самоопределение и предлагает основать Лигу Наций. В послании обращает на себя внимание отрывок, в котором президент категорически заявляет, что его действия не были вызваны мирными предложениями центральных держав: позднее выяснилось, что Берлин уже с лета 1916 г. старался влиять на Вильсона, дабы он начал кампанию в пользу мира, а потому выступление Берлина и Вены его неприятно удивило.

На эту инициативу Вильсона в вопросе о мире, союзники ответили общей нотой от 12-го января 1917 г., и в этом ответе проявляется блестящий успех нашей работы; в ней среди других требований и условий мира мы читаем: «Освобождение Итальянцев, Славян, Румын, Чехословаков от иностранного владычества».

Ответ вызвал возбуждение в наших колониях и чрезвычайно нас усилил; волнение началось и в союзнических публицистических и политических кругах; особенно сильно подействовало то, что мы, чехи и словаки, были особо названы. Как раз это же послужило причиной некоторого недовольства в югославянской и польской колониях. Им наш успех казался несообразно великим.

Я сейчас же понял из текста, что слово «чехословаки» было приписано к уже готовому тексту, требовавшему всеобщего освобождения славян; это мое предположение позднее подтвердилось. Д-р Бенеш узнал о подготовляемом ответе союзников и начал переговоры с Бертело и другими; были, однако, значительные затруднения, так как союзники не решались ручаться за полное уничтожение Австро-Венгрии и обещать народам освобождение наверняка. Д-р Бенеш старался, как устно, так и при помощи меморандумов, чтобы это обещание

было дано ради поддержки угнетенных народов, он особенно налегал на то, чтобы было упомянуто о чехах и словаках. Благодаря своим усилиям д-р Бенеш привлек на нашу сторону влиятельное лицо (г. Лейга, председателя иностранной комиссии); Андрэ Тардье написал в нашу пользу статью в «Temps», редактор Зауервайн — в «Matin» (обе статьи 3 января). В статье в «Matin» министру Бриану припоминали обещание, данное им мне в прошлом году.

Переговоры об ответе велись между Парижем, Римом и Лондоном, и было решено говорить о славянах вообще, дабы не возникли споры между Италией и Югославией. Но французскому министерству иностранных дел удалось удовлетворить настояния д-ра Бенеша.

Слово «Чехословаки» в заявлении имеет свою интересную внутреннюю историю; было сделано три предложения: освобождение «чехов» — «чешского народа» — «чехословаков»; последнее предложение было принято в совещании Бенеша, Штефаника и Осуского.

Президент Вильсон и после ответа союзников не терял надежды на довольно скорое осуществление мира. Т. Бернсторф, опираясь на авторитет полковника Гауза требовал от своего правительства немецкие условия мира (28 января 1917 г.), Германское правительство в ответ на это послало список своих требований; Германия использовала вполне status quo на фронте и, главным образом, думала об изменении границ с Россией, причем к Польше относилась, как к земле, подчиненной Германии. Впечатление от этого ответа в Вашингтоне не было положительным.

Характерно для немецкой дипломатии то, что предлагая свои условия мира, она одновременно сообщила Вильсону о неограниченной подводной войне. Открытое объявление подводной войны было сделано 31-го января 1917 г., а уже 5-го февраля Соединенные Штаты прервали дипломатические сношения с Германией. Для общего положения еще характерно, что президент Вильсон предложил нейтральным государствам сделать то же самое; интересны были ответы этих государств,

(поскольку я мог следить, ответило 10 государств): одни ответили неопределенно, другие отрицательно.

Параллельно с германскими переговорами о мире, в то время, как в Америке все нарастало настроение против Германии, начала особо свои переговоры о мире и Австрия; император Карл обратился тайно, через посредничество своего шурина Сикста, к Пуанкарэ и другим западным политикам. Подробнее об этом я буду говорить в связи с иными вопросами.

Я следил весьма внимательно за всеми мирными предложениями; они характеризовали общее положение не хуже событий на полях сражения. Падение царизма и русская революция всюду усилили надежды на мир и пацифизм; русское временное правительство опубликовало (10 апреля 1917 г.) заявление, в котором обещало всем народам право на самоопределение; потом следовало заявление всех русских рабочих и солдатских депутатов (15 апреля), требовавших мира без аннексий и контрибуций, и заявление социал-демократии в Германии, Австрии и Венгрии (19 апреля), присоединявшееся к заявлению русских рабочих и солдат. С другой стороны, эти заявления ослаблялись объявлением войны Америкой; из заявлений Вильсона и союзников было видно, что Америка объявляет войну по-настоящему, а не как временное средство воздействия. Скорое и, до известной степени, подготовленное вооружение Америки не допускало никаких сомнений.

42.

Я не ожидал, что огромный успех ответа союзников Вильсону, достигнутый благодаря большим усилиям с нашей стороны и редкостной дружбе Франции, вызовет на родине, а этого я всегда страшно боялся, опровержения от имени депутатов.

За делами на родине я, конечно, следил с огромным вниманием; мы получали, как уже говорилось, австрийские и чешские газеты, а кроме того, нам привозили тревожные известия различные гонцы из Праги и Вены. Кроме того, я старался

получать наиболее важные известия от союзнических правительств.

Как я уже намекал, заграницей нас обвиняли в пассивности; враждебная пропаганда на это постоянно усиленно указывала. Мы, со своей стороны, указывали на преследования. Понятно, что в союзнических государствах даже такой факт, как арест и приговор над д-ом Крамаржем и д-ом Рашином не произвел того впечатления, что в Чехии — всюду у людей были свои заботы и горести, особенно во Франции, где почти каждая семья оплакивала смерть какого-либо из своих членов. Понятно, что мы использовали для себя все, что можно было честно использовать, а этого было достаточно. Так, например, те доводы, на основании которых суд вынес приговор над д-ом Крамаржем, весьма красноречиво обрисовывали наши антиавстрийские стремления — глупость Вены и генералиссимуса в этом случае вредили сами себе, мы же, конечно, использовали то, что нам давалось.

Я наблюдал на родине дезорганизацию партий и личностей; со времени моего отъезда условия в этом отношении во многом не улучшились; однако, особенно это не вредило, так как под военным и политическим давлением не была возможна общественная и политическая жизнь. Поэтому я приветствовал в конце 1916 года попытку объединения чешских депутатов и партий в чешском союзе и в национальном комитете (не полном). Когда умер Франц Иосиф (21-го ноября 1916 г.) и на престол взошел Карл, единение депутатов и политических деятелей при таком положении вещей было и разумным и необходимым. Смерть Франца Иосифа усилила нашу позицию; всюду, в течение уже многих лет, было распространено мнение, что после смерти старого императора Австрия, вследствие своего расстройства, распадется. Это мнение я часто слышал перед войной в Америке и в иных землях; таким образом, смерть популярного коронованного старика представилась людям, как знамение развала его империи. Нового императора не знали, а то, что о нем стали поговаривать, не возбуждало надежд. Уже убийство Штюргка, предшествовавшее смерти императора, указывало на слабые стороны Австрии; позднее защитительная речь д-ра Адлера с ее обвинениями против Австрии (д-р Адлер

подчеркнул крупную вину Австрии в войне) произвела также неблагоприятное для Австрии впечатление. Мы, конечно, постарались, чтобы подобные документы были распространены как можно шире всюду заграницей.

Наконец, пришел ответ союзников Вильсону. То, что католическая партия поторопилась с отказом уже 14-го января (в Простейове) никого не удивило; не удивило и то, что немецкие и австрийские органы печати начали распространять по свету это верноподданничество. Но пришло и опровержение чешского союза (23 январ 1917 г.). Я хорошо понимал тяжелое положение, в котором оказались депутаты и ожидал, что именно благодаря заявлению клерикалов они будут принуждены что-нибудь сказать; дело было лишь в том, как это сказать. Я представлял себе, как можно было формулировать ответ, — все вышло иначе. Он был ослаблен тем, что я не был назван, а потому, благодаря этой неопределенности, газеты и общественное мнение не обратили внимания на опровержение; главную услугу нам, однако, оказал Чернин тем, что опубликовал лишь сжатое письмо, подписанное тремя депутатами, имена которых заграницей не были известны. Австрофильские круги, конечно, весьма усиленно пользовались этим осуждением; это как раз нам и дало много работы.

Наши противники были также довольны первым заявлением «чешского союза» и «национального комитета» (19-го ноября 1916 г.), упоминанием о приверженности к династии и ее историческому предназначению. В участии обеих организаций на коронации императора Карла в Будапеште (30 декабря 1916 г.) они видели доказательство, направленное против нашей заграничной деятельности; опровержение (23 января 1917 г.) они довольно ловко соединяли с этим выступлением.

Я лично это опровержение объяснял, как некое проявление благодарности за амнистию д-ру Крамаржу и другим, приговоренным к смерти (4 января 1917 г.). Но император Карл своей амнистией подтвердил взгляд Франца Иосифа, считавшего обвинение в государственной измене слабым; об этом мы слышали и заграницей; Вена бы не решилась посягнуть на жизнь наших заключенных и не было нужно так дорого пла-

V

ПАНСЛАВИЗМ И НАША РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ

(Петроград—Москва—Киев—Владивосток. Май 1917—апрель 1918 гг.)

43.

Первые сведения о русской революции были неопределенные и невероятные: я боялся ее с самого начала и все же, когда она пришла, я был неприятно удивлен — какие будут последствия для союзников и для всего хода войны? Когда я получил более подробные сведения и кое-как ориентировался, я послал 18 марта Милюкову и Родзянко телеграмму, в которой выражал свое удовольствие по поводу переворота. Я выдвинул вперед славянскую программу; это подчеркивание в данном положении не было лишним ни для России, ни для Запада. Мне было не легко говорить о плане союзников освободить угнетенные народы и усилить демократию, в то время, когда я знал, что один из союзников — царская Россия, — не слишком заботился о демократии и свободе; поэтому теперь, после революции, я мог сказать, без всяких оговорок, что свободная Россия имеет полное право провозглашать свободу славян. Я кратко формулировал славянскую программу следующим образом: единение Польши в тесном союзе с Россией, единение сербов, хорватов и словинцев и, конечно, освобождение и единение нас — чехов и словаков. К этому я добавил, что дело касается

не только нас славян, но и латинских народов — французов, итальянцев и румын и их справедливых национальных идеалов.

Как видно, эта программа была формулирована по недавнему ответу союзников Вильсону и в связи со взглядами союзнических политических кругов, нам близких; я должен был также сообразовываться с тогдашним русским правительством и с Милюковым, как с министром иностранных дел. Милюков сейчас же ответил дружественно.

Известия о революции и особенно о ее бурном ходе беспокоили меня. При всем моем знании России, я не знал в данный момент всех действующих лиц и их значения. У человека могут быть опасения, он может предчувствовать, может представить себе общее положение и его дальнейшее развитие, но совсем нечто иное иметь в данную минуту конкретные познания о действительности, т. е., в конце концов, о главных действующих лицах, их склонностях и планах. А этих познаний у меня, как раз, и не было. Со стороны буржуазии и социалистов (демократов и революционеров) революции я не ожидал, я знал, что они не были подготовлены. После поражения я ожидал демонстративного восстания — такой демонстрацией было то, что Дума заседала, несмотря на ее роспуск царем — но что армия и весь государственный аппарат и царизм были так глубоко подкопаны, как это оказалось, было все же неожиданностью, хотя я уже давно разглядел и осудил царизм и его неспособность.

У меня лично с официальной Россией были весьма натянутые отношения. Я был записан на черной доске; зато у меня были друзья в передовых партиях. Уже первая моя книга (О самоубийстве) была в русском переводе уничтожена; зато она возбудила внимание, наприм., Толстого. Моя критика марксизма («Социальный вопрос») прошла через русскую цензуру, была в русском переводе очень читаема и добыла мне знакомства; она не оттолкнула и марксистов, несмотря на то, что они с ней не соглашались. Мои этюды о России были, конечно, запрещены; несмотря на это, они привлекли внимание своим немецким переводом; отрицательно писал о «России и Европе» с односторонней марксистской точки зрения, на-

пример, Троцкий (в венском социал-демократическом журнале «Der Kampf» осенью 1914 г.).

Зная отвращение реакционных элементов к себе и союзникам, я не торопился при царском правительстве в Россию; возможный конфликт с русским правительством мог бы усилить наших противников. Поэтому я старался влиять на официальную Россию через русских и союзнических послов, Сватковского, а также через русских, которые довольно часто приезжали на Запад; с нашими людьми я поддерживал сношения перепиской и особыми гонцами и членами колонии, которые приезжали ко мне. Когда мои личные знакомые и друзья сделались после революции влиятельными, а некоторые вошли и в правительство, я решил, что поеду в Россию и добьюсь создания армии из наших пленных; я рассчитывал особенно на Милюкова, как на министра иностранных дел. Мы были с ним уже давно знакомы; во время войны мы с ним встретились в Англии и сговорились о главных пунктах военной и мирной программы.

К путешествию в Россию меня также толкало образовавшееся за 1917 г. на главном фронте (западном) серьезное положение. Я полагал, что пробуду в России несколько недель. Я устроил все необходимое в Лондоне и, между прочим, переговорил еще о положении в России с Лордом Мильнером, который как раз вернулся из своей официальной миссии в России; после этого я 16-го апреля 1917 г. отправился с английским паспортом в путешествие. Немецкие подводные лодки начали страшную борьбу также против пароходного сообщения между Англией и Россией; я должен был отплыть 17 апреля из маленького порта Эймбл, а пароход все не приходил и не приходил, так как, в действительности, он был потоплен. Я ждал день, два и, вдруг, неожиданно получил телеграмму из Лондона, что из России возвратился Штефаник; одновременно приехал его гонец с просьбой, чтобы я вернулся в Лондон. Так, у неприятного приключения с пароходом оказалась та хорошая сторона, что Штефаник мог мне подробно сообщить о положении вещей в России. Он мне объяснил, как до сих пор там развивались легионы; о русской революции сообщил мне мнения

выдающихся русских военных, а именно, что теперь наступление русской армии против немцев будет более живым и действительным, так как в армии прекратится влияние германофильских элементов. Многие руководящие личности в армии желали переворота и надеялись, что благодаря победе его достижения будут закреплены.

Из Парижа также приехал Бенеш и мы могли, сообразно с сообщениями Штефаника, еще раз подробно сговориться о деятельности в России и о дальнейшей работе в Европе.

Я нашел другой пароход и выехал 5-го мая в Абердин; на этот раз пароход доплыл в сопровождении двух минных истребителей. Я благополучно добрался до Бергена; ночью мы чуть не наскочили на неприятельскую мину, но капитан уже в последнюю минуту решительным поворотом предотвратил несчастье. Об этом я узнал лишь рано утром.

В Бергене я задержался лишь недолго. Всюду в городе легко было заметить и услышать, что Норвегия симпатизирует союзникам. Из Бергена я поехал через Христианию в Стокгольм, где задержался на день. Я не хотел ночевать, чтобы не привлекать к себе внимания различными формальностями с паспортом (несмотря на то, что у меня был паспорт на чужое имя); мне, между прочим, сказали в Лондоне, что шведские чиновники, под давлением Австрии, могли бы понять свой нейтралитет в том смысле, что я, как известный противник Австрии, должен быть интернирован. Швейцарский прецедент принуждал к осторожности.

В Стокгольме меня ожидал редактор Павлу; здесь подготовлялся съезд Интернационала, особенно социалистов скандинавских и голландских. В Интернационале все кипело; в апреле в Готе немецкая социал-демократическая партия раскололась на два лагеря и образовалась партия независимых. Влияние русских ленинистов начало всюду ощущаться (Ленин приехал в Россию 4-го апреля), развивался пацифизм, а вместе с ним и некоторое германофильство.

Через Гапаранду я добрался 16-го мая до Петрограда; при отъезде с вокзала я обратил внимание на целые тучи ворон; в прежние года это мне, очевидно, так не бросалось в глаза...

Сейчас же по своем приезде я нашел Милюкова. Он, как раз уходил из правительства — неприятный сюрприз; но понемногу я завязал связи с остальными членами Временного Правительства, с председателем Совета Министров, князем Львовым, с новым министром иностранных дел Терещенко и другими. Естественно, что меня больше всего интересовали иностранное и военное министерства. Я нашел и там и здесь, как и ожидал, несколько разумных людей, доступных доводам и сохранивших симпатии к союзникам.

Тогда в Петрограде, при очевидной слабости и неподготовленности правительства, были полезны сношения с союзническими представителями. Прежде всего, это была военная французская миссия в Петрограде, главным образом, генерал Ниссель и полковник Лаверн; в Ставке был майор Буксеншуц и генерал Жанэн, позднее наш генералиссимус (он был в России с апреля 1916 г.), в Киеве — генерал Табуи, в Яссах генерал Бертело — все они были искренними друзьями и охотно помогали. Французский посол Палеолог как раз покинул Петроград (по всей вероятности наши поезда встретились); зато в Петрограде был Альберт Тома, дружественно настроенный по отношению к нам, в то время, как Палеолог был австрофил. У Тома был секретарем редактор М. П. Комер, которого я хорошо знал благодаря Стиду.

Весьма любезным был английский посол сэр Джорж Вильям Бьюкенен; у него как у лойяльного друга Временного Правительства и либеральных кругов вообще было значительное влияние в тогдашнем Петрограде. Зато консерваторы и реакционеры распространяли о нем сплетни, что он устроил революцию и т. д.

Весьма оживленные сношения у меня были с итальянским послом (маркизом Карлотти); он поддерживал меня перед своим правительством и убеждал, чтобы из итальянских пленных были созданы легионы. Наконец, оживленными были сношения с сербским послом Спалайковичем (известным у нас по процессу Фридюнга) и с румынским — Диаманди.

В это же время из Америки приехала миссия, под руководством сенатора Рута; в ней также был мой старый друг, м-р

Чарльз Крейн, д-р Джон Р. Мотт и др. К ней был также прикомандирован проф. Герпер, славист, сын бывшего ректора чикагского университета того времени, когда я там читал лекции. Из Америки также приехал Воска, посланный организовывать агентуру Slav Press Bureau для американского правительства; ему в помощники были даны наши люди — Коукол, редактор Мартинек и Шварц. Заехал в Петроград также Гендерсон — вождь английских рабочих; он был послан английским правительством для осведомления о положении в России. Был тут также и Вандервельде; уже давно мы были с ним в литературных сношениях, лично мы встретились при переправе из Абердина.

Как и всюду, я и в Петрограде завязал сношения с представителями главных политических партий и направлений. О Милюкове я уже говорил; я также встречался со Струве и другими кадетами. Из социалистов, я возобновил сношения с Плехановым, которого видел последний раз в Женеве; нашел я и Горького, издававшего тогда свою газету. Познакомился я также с некоторыми социалистами-революционерами, редакторами их главнейших газет (Сорокин); Савинкова я видел позднее в Москве.

Я не ограничился лишь политическими деятелями и возобновил сношения с университетскими и академическими кругами.

Когда пришло правительство Керенского, я должен был вести переговоры с его членами. Лично с самим Керенским не удалось встретиться, так как он слишком много времени проводил вне Петрограда, особенно на фронте; я сам тоже часто разъезжал между Петроградом, Москвой и Киевом. Зато чаще я видел проф. Васильева, его дядю, которому и передавал свои поручения и просьбы.

Как в Лондоне и в Париже, так и в Петрограде, Москве и Киеве я устраивал публичные лекции или широкие собрания с выдающимися и влиятельными лицами. Я осведомлял редакторов и сам написал несколько статей. В сжатом виде моя пропаганда сводилась — разбить Австрию! В России эта пропаганда была не менее нужна, чем на Западе, потому что и в

России руководящие круги не имели определенного антиавстрийского плана и склонялись скорее к плану уменьшенной Австрии.

Особо я должен упомянуть о сношениях с поляками (русскими); с их руководящими деятелями я познакомился сейчас же по своем приезде. У меня были свидания с поляками во всех больших городах — их центр был в Москве — позднее мы договаривались об общих или, по крайней мере, параллельных действиях в военном вопросе. Поляки образовали из своих солдат свою будущую армию и, конечно, в этом отношении у них были все те же затруднения, что и у нас.

44.

Перед тем, как я уехал из Лондона, я сговорился со своими друзьями, что пошлю как можно скорее сообщение о положении в России; дело касалось, главным образом, того, могут ли еще союзники и в какой степени рассчитывать на участие России в войне. Я довольно скоро заметил, что союзники не могут и не должны считаться с военной силой России. Этот свой взгляд я формулировал в телеграмме для «Times» около 25 мая; так как телеграммы подлежали цензуре, я не могу сказать, соответствует ли напечатанный текст моему черновику и тому, о чем мы договорились с петроградским редактором. Я не мог сделать ничего иного, как рассеять надежду на военную помощь России — в интересах нас всех было важно не предаваться иллюзиям. В Англии и в других союзнических государствах многие понимали революцию, как протест против вялого ведения войны; но ведь полный развал армии, солдат и офицеров был виден всюду и во всем. Я не буду рисовать, как этот развал день ото дня все увеличивался; между прочим, вспоминаю о тяжелом впечатлении от позднейшего женского баталиона — многие наивные европейцы и русские не подметили в его образовании симптома военной разрухи и всеобщей деморализации.

Для официальной России и, особенно, царского двора глубоко характерна распутинская история. У меня были о ней

уже сведения в Лондоне, в Петрограде я узнал о ней подробно. Представим себе только, что царский двор, а с ним и правительство Штюрмера и Трепова были под влиянием такого грубого и почти безграмотного, хотя и хитрого и, наверно, талантливого человека, каким был Распутин. И к тому же распутинщина длилась при дворе шесть лет! Если в оправдание говорят, что все это было религиозным экстазом, так мы должны сказать, что эта религия была лишь грубым суеверием и экстазом многим не отличающимся от него. А ведь Распутин был не первым авантюристом, добившимся доверия суеверного царского двора.

Также несправедливо было бы говорить, что этой моральной эпидемии поддался лишь двор; налицо факт, что ни официальное, ни политическое, ни церковное общество достаточно не противились и не обладали ни способностями, ни авторитетом, чтобы спасти царя и Россию от влияния Распутина. Только представим себе, каковы были моральные и правовые условия, если Распутина не могли устранить иным способом, как убийством и если убийство это осуществили высокопоставленный аристократ, консервативный депутат и член царской семьи (он знал об убийстве и присутствовал при нем). Когда я читаю подробное описание этого убийства (написанное самим Пуришкевичем), я вижу насколько эти люди и в самом убийстве были неспособными, поверхностными и, благодаря этой поверхностности, излишне жестокими; и само убийство, и как оно было осуществлено указывают на упадок и деморализацию официальной России — звучит это цинично, но это правда, эти люди не могли уже быть даже порядочными злодеями. Тем более ужасными злодеями были они!

А какова была эта царская семья, эта стая всевозможных великих князей, державших в руках высшие военные и штатские посты! То, что было в России, было, допускаю mutatis mutandis и в Австрии и, хотя в меньшей степени, в прусской Германии.

Этим моральным и политическим болотом несет также и от дворянства; оно было настроено против Распутина вовсе не по моральным или религиозным побуждениям, а лишь по кастовым причинам. Поэтому-то в их среде и зародился план

избавиться от царя, в худшем случае, как от Павла. Такое крайнее средство всегда является оружием людей пассивных, несопротивляющихся злу непрерывной работой. Я получил о плане дворцового переворота достоверные известия с нескольких сторон, которые, кроме того, теперь то здесь, то там проскальзывают и в печати.

То, что было сказано о дворянстве, касается и церковной иерархии.

Для меня в то время было самым важным разобраться в военном и политическом положении; ясно, что я не мог притти к иному заключению, чем то, какое я формулировал для лондонской газеты.

От той России союзники не могли ожидать помощи и от такой России не могли ожидать политической помощи и мы. Решающие причины поражения на фронте заключались в моральном гниении русского высшего общества и значительной части всего русского народа. Дело Мясоедова (и он был в сношениях с Распутиным — был повешен в марте 1915 г.) и Сухомлинова (арестован в мае 1915 г.) показали, что командный состав русской армии деморализован; и если бы даже не было шпионажа в пользу немцев, хотя это всюду твердили, самого факта этих процессов вполне достаточно для осуждения военного командования. Я не придаю особенного значения тому, действительно ли Протопопов при своей поездке с думцами, как многие утверждали, вел с Варбургом в немецком посольстве в Стокгольме переговоры о сепаратном мире с Германией (кажется, что этого не было, но никому ненужным разговором он сделал бестактность) — но я вижу ясно ошибку и вину царского правительства в том, что оно пошло на войну без подготовки, необдуманно и в своих же интересах недобросовестно. Это-то и толкало его к Германии сейчас же после первых поражений; уже в марте 1916 г. были сведения, что Стиннес пытался примириться с Россией и что Штюрмер стал министром с оглядкой на Германию. То же самое было и с его наследником Треповым. Понятно, что союзники потеряли веру в Россию; одно время они даже опасались поставлять русским ору-

жие и амуницию, так как они их могли употребить против самих же союзников.

Естественно также, что стратегический план союзников должен был изменяться благодаря военным недостаткам русских. Во Франции также многие не доверяли России из-за того, что она не прислала тех войск, которые обещала Франции. Русский военный командный состав после своих поражений все успокаивал союзников, что у него миллионы и миллионы войск; и действительно, особенно, говорят, Алексеев был за миллионные наборы, забывая, что для солдат не будет ни оружия, ни хлеба и что не будет возможности совладать с этой массой. Мне становилось прямо дурно, когда после наступления Брусилова, русские генералы хвастались, что в их распоряжении пятнадцать и более миллионов солдат. Во Францию было обещано полмиллиона, а послано было не более шестнадцати тысяч (1916), и те должны были быть интернированы, так как не были дисциплинированы. Если некоторые русские уже тогда, а многие и до сих пор обвиняют Запад в неблагодарности, так как западные союзники будто бы сделали мало для России, то эти обвинения не имеют никаких оснований; союзники могли бы обвинять русских, что они не сдержали обещаний. Верно лишь то, что многие на Западе именно так смотрели на Россию сейчас же после поражений 1914 г.; начинали видеть, что Россия шла в войну неподготовленной, азартничая. Подобные сомнения о России я не раз слышал в Париже, Лондоне и Вашингтоне.

Несмотря на это, я признаю, что нельзя отрицать доброй воли России. Россия в самом начале войны откровенно обещала помощь Сербии; на Восточную Пруссию русские повели наступление как раз тогда, когда Париж был в опасности; Брусилов тоже начал действия, дабы этим облегчить Италии, и Керенский хотел помочь делу.

Русские очень часто выдвигают то оправдание, что измену совершила лишь придворная немецкая клика под руководством царицы. Это неверно. Царица к измене не была причастна; я проверял то, что об этом говорилось в думских кругах, и убедился, что она не была по отношению к России

менее лояльна, чем сами русские. Я не хочу этим сказать, что из близкого круга царицы не шла измена благодаря тому, что она доверяла Распутину, а он был в руках хитрецов, которые могли использовать его отношения к царице. Роковое несчастье — ошибка царицы была в ее необразованности, в болезненном и грубом суеверии и политической неспособности при огромном властолюбии; ее величайшим несчастьем был безвольный царь и то, что она совершенно над ним господствовала. Он верил в нее, как в божественного пророка, и, таким образом, она становилась верховной политической силой в России! Царица была ярой противницей конституционализма и Думы, а царь разделял с ней эту вражду: только представим себе, что лишь во время войны, в феврале 1916 г. он впервые посетил Думу! Генерал Алексеев хотел арестовать царицу, но было уже поздно, да это и не помогло бы.

Царь был лоялен по отношению к союзникам; когда в декабре 1915 г. граф Эйленбург, маршал берлинского Двора, при помощи графа Фредерикса пытался начать мирные переговоры, царь их отверг, то же самое повторилось, когда в марте 1916 года попытался это сделать великий князь Гессенский (брат царицы). Не менее был он настроен и против германофильской агитации Витте. Он был также за энергичное ведение войны, но все это были лишь слова; энергично вести войну он не умел. Он был, действительно «деревянный душой», как его охарактеризовали в Петрограде. Даже когда он видел печальное положение вещей, то ничего не предпринимал. Также немужественно вел он себя и потом когда часть придворной клики выдумала план пустить немцев к Петрограду, дабы этим спасти трон. Что это не был единственный подобного рода план, я могу доказать теми сведениями, которые я получил в Лондоне о Горемыкине. Уже тогда этот русский министр, бывший сравнительно лучше, нежели его преемники, не боялся поражения и наступления немцев на Петроград: немцы-де могут завести в России порядок...

Слабость и неустойчивость царя можно подтвердить не одним фактом из истории его царствования. Приведу здесь историю в Бьеркэ (1905 г.); он поддался уговорам Вильгельма и

обещал помощь России против Англии в союзе с Германией и Францией — министр иностранных дел Ламсдорф и Витте должны были вмешаться, чтобы помешать ратификации договора. Одновременно должно быть отмечено, что император Вильгельм этим своим планом выказал значительную политическую близорукость. Во время войны царь действовал также невозможным образом: впутался по воле царицы в верховное командование и наделал этим массу зла, увольняя лучших людей, как Сазонова, и назначая Штюрмеров и прочих креатур. Что касается нас, то он нарушил, как мы увидим, свое обещание, как нарушил некогда обещание, собственноручно им подписанное в Бьерке.

Витте в своих мемуарах говорит о Николае, что он был человеком весьма хорошо воспитанным, но что касается образования, то он был на уровне гвардейского полковника из хорошей семьи — отрывки из его интимного дневника в дни революции и отречения от престола, которые были теперь напечатаны, до ужаса подтверждают мнение Витте — прямо ничто! Я вижу, что не был несправедлив к царю, когда не доверял всей его политике и характеру.

Царский Содом и Гоморра должны были быть уничтожены огнем и серным дождем. В таком положении не был лишь двор и придворное общество — деморализация была весьма распространена и захватила все круги, особенно же, так называемую, интеллигенцию, а также и мужика. Царизм, вся политическая и церковная система деморализовали Россию.

Если я так подчеркиваю моральную сторону царского режима, то в то же время я вполне сознаю, что нравственность и безнравственность общества проявляется, естественно, во всей государственной и военной администрации. Недостаток продовольствия для армии и населения был, например, одним из последствий этого морального состояния, за которое потом получило отмщение правительство и вся система; революция в Петрограде была фактически вызвана голодом, а первые полки, которые восстали, были продовольственными отрядами. Недостаток оружия, бессмысленные массовые наборы осенью 1916 г., следствием которых был недостаток рабочих

сил на полях и т. д., все это было проявлениями и последствиями управления, осужденного на смерть.

Я имею право так судить о России во время войны, потому что я ее судил и осуждал подобным же образом и перед войной; свое суждение я не обосновываю лишь на неуспехах войны, ибо они являются последствием тяжелой моральной болезни всего царского режима, а с ним и русского народа. В этом не может оставить ни малейшего сомнения изучение дореволюционной России и особенно ее литературы. Величайшие писатели показывают нам русскую душу больной и хворой, но одновременно открывают перед нами и ее стихийную тоску по правде. Толстой лишь рельефно выразил то, по чем тосковали все, видя сущность искусства лишь в правде, правдивости. Царизм, как раз правдой не был, а война не обнаружила эту неправду больше и лучше, чем Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой и Горький! Теперь русские зовут Достоевского прямо пророком революции — война и революция являются кровавым подтверждением русской литературы...

Россия пала, должна была пасть из-за своей внутренней неправды, как сказал бы Киреевский. Война была лишь великим поводом, при котором появилась наружу внутренняя неправда во всей своей наготе, а царизм пал сам собой. Царизм сумел цивилизовать Россию в грубых чертах, т. е. дать европейские возможности дворянству, бюрократии, офицерству, но мужик и солдат — мужик — Россия — жили вне этой царской цивилизации, а потому и не защищали ее, когда во время войны она не смогла сама удержать себя, благодаря своей скудости и внутренней нищете.

Великую вину в этом я приписываю русской церкви и ее пассивности; она виновата в том, чего не делала, т. е., что не заботилась в достаточной мере о моральном воспитании народа. То, что славянофилы, особенно Киреевский, хвалят в русской церкви, то является именно ее величайшим недостатком — Чаадаев видел лучше, чем славянофилы.

К этому взгляду о моральной основе царизма я пришел задолго до войны; в своей книге о России, вышедшей как раз перед войной, я описал и анализировал печальное положение России. Естественно, что после объявления войны я не мог договориться с некритическими руссофилами, как нашими, так и русскими.

Чешская колония в России ожидала освобождения народа от царя: принимая во внимание политическое образование нашей русской колонии, это становится вполне понятным, тем более, что царь лично относился к нашим вполне прилично. В самом начале войны, 20-го августа он принял чешскую депутацию. Я уже упомянул о тех надеждах, которые возбудила царская аудиенция и у нас на родине. Немного позднее, 17 сентября 1914 г., царь принял снова чешскую депутацию и высказал свой интерес к Словакии, потребовав о ней особый меморандум. В 1915 г. он послал нашим легионерам во Франции ордена. В 1916 г. он говорил о чешском вопросе со Штефаником, которого в русских военных кругах и при дворе весьма усиленно поддерживал генерал Жанен; в июне царь дал согласие на освобождение славянских военнопленных, а в декабре снова принял чешскую депутацию.

Итак, царь, лично, вел себя весьма хорошо, но тем более выступает и в этом случае разница между царем и царизмом. Конечно, выступления царя неответственны; но наши соотечественники в России пьянели от каждого заявления, в котором говорилось о славянских братьях; я высказал уже в самом начале свое мнение и обратил внимание на то, что официальная Россия под славянами подразумевает, главным образом, православных.

Россия, и особенно царь, правда, с самого начала стали за Сербию, но в пользу Сербии говорили и остальные державы, никто не хотел допустить, чтобы Вена наложила свою руку на независимость Сербии. С «карательной экспедицией» Россия так же бы согласилась, как и Англия.

Наши русские земляки ссылались особенно на аудиенцию

17-го сентября 1914 г.; но тот, кто прочтет внимательнее сообщение о ней, будет разочарован именно этой аудиенцией. От политических детей может отделаться словами особенно политический ребенок, каким был царь; он проявил интерес, но решительно ничего не обещал. Депутация указала ему на карте территорию будущего государства, в которое входила и Вена и Верхная Австрия, царь против этой фантазии не протестовал и закончил все словами: «Благодарю Вас, господа, за информацию. Надеюсь, что Бог нам поможет и Ваше желание будет осуществлено». Я также верю в Бога, но не в бога распутинского — в соответствии с этим все и вышло.

Царь, как известно, слышал при дворе своего отца разные вещи о славянах и интересовался, как говорят, особенно лужичанами; но у него не было всеславянского плана, не имели его и его министры. Иначе бы он не назначил министром иностранных дел такого человека, как Штюрмер, о котором знал, что он германофил. Царь в марте 1916 г. также соглашался с бароном Розеном, известным своим антиславянством и германофильской программой, в том, что Россия и союзники должны как можно скорее заключить мир (если возможно, под руководством Соединенных Штатов).

Я уже приводил краткое содержание речи Сазонова в Думе (8-го августа 1914). Я знал прошлое и взгляды Сазонова, которого царь отстранил потому, что он был представлен ему, как либерал. Он, конечно, не был согласен с распутиновщиной и, вообще, был весьма приличным человеком, но и у него не было положительного славянского и чешского плана войны. Сазонов, об этом мы знали на Западе, был против войны и особенно старался избежать конфликта с Германией, а уже потому у него не было такого славянского плана, какой ему наши люди наивно приписывали. Сазонов, совершенно так же, как и другие высокопоставленные чиновники, говоря о славянах, думал прежде всего о православных. Я приводил его выступление в Думе в начале войны. Это также ясно видно и из того разговора, который имела с ним упомянутая другая депутация, принятая 15 сентября, которой наши придавали также большое значение. Сазонов расспрашивал, как представляют себе чехи отношение

православной династии к католическому народу и высказал при этом свои сомнения; депутация ссылалась на нашу чешскую терпимость! Сазонов высказался, как гласит сообщение, весьма дружественно о нашем народе и в конце также обратился к Богу: «Если Господь пошлет решительную победу русскому оружию, то восстановление вполне самостоятельного королевства будет вполне совпадать с планами русского правительства, об этом вопросе уже думали до начала войны и все принципиально было решено вполне положительно для чехов». Я цитирую сообщение со слов депутатов; каждый видит, как осторожно и неответственно говорил Сазонов. Я его в этом не обвиняю; как русский и как ответственный министр, он на это имел право и даже обязанность; мне важно лишь то, чтобы мы избавились от славянофильских и руссофильских иллюзий. Интерес Сазонова к православным совпадает с тем, что было сказано об Извольском. Палеолог в своих воспоминаниях о царской России рассказывает, что 1-го января 1915 г. он предлагал Сазонову, чтобы союзники привлекли к себе Австро-Венгрию и направили ее против Германии; Австрия, по всей вероятности, уступила бы России Галицию, Сербии — Боснию-Герцеговину, и этим бы дело и закончилось. На это Сазонов спросил французского дипломата, что же будет с чехами и хорватами? Палеолог ответил, что для Франции чешский и югославянский вопросы являются второстепенными; будет вполне достаточно, если чехам и хорватам будет дана широкая автономия. Сазонов, по словам Палеолога, казалось, был поколеблен этой аргументацией и считал, что план заслуживает, чтобы над ним подумали. Если Палеолог правильно рисует всю сцену, то тогда, по моему мнению, у Сазонова в первой половине, войны не было целостного славянского плана: если бы он у него был, то он не мог не выступить со своими аргументами против рассуждений французского дипломата. (Обратите внимание, что Сазонов говорит лишь о чехах и хорватах, а отнюдь не о землях, принадлежащих им).

Что касается славянской программы официальной России, то можно наблюдать, что по мере развития войны и поражений — Россия в своих заявлениях о славянах становилась все бо-

лее и более сдержанной. Я приводил различные заявления начала войны. В Думе 29 мая 1916 г. Сазонов еще вспомнил «славянских братьев», но говорил лишь об их будущей организации, обещая полякам самую широкую автономию. За то Трепов, говоря немного позднее, в декабре 1916 г. о целях войны, о славянах уже не упоминал; а царь в приказе армии и флоту повторяет за Треповым, что целью войны является Царьград и свободная Польша, однако, неразлучно соединенная с Россией; так говорил Трепов, а перед ним Штюрмер.

Настоящую программу войны мы видим ясно в тайных договорах, в которых Россия раскрыла свои личные стремления. Самым важным, во-первых, является тайный договор с Францией и Англией (летом 1915 г.), главное требование которого — Царьград; договор весьма важный, если еще принять во внимание Англию. Другой договор (временный) — соглашение Думерга с Покровским от 12 февраля 1917 г.: Франция имеет право определить свои границы на Рейне, Россия на своем Западе. В зависимости от положения, и особенно от тайного договора с Румынией (сентябрь 1916), которой была обещана Буковина (вся и с русинами), Трансильвания и Банат, Россия, в согласии со своей польской программой, распространила бы свои западные границы на Галицию, Познань, а быть может и на часть прусской Силезии. Поскольку я мог узнать, подробности этой переделки границ не были точнее определены.

В некоторых официальных славянофильских русских кружках уже ранее подумывали о том, чтобы забрать Словакию, по крайней мере, восточную и среднюю, не сообразуясь с Чехией; эта Чехия (Моравию некоторые эти «славянофилы» миловали) должна быть оставлена Западу. Об этом плане вспоминали иногда и наши (словаки), в особенности при наступлении русских зимой 1914 г., а потом при наступлении Брусилова летом 1916 г.

У царской России, как уже было сказано, не было продуманной всеславянской программы; наоборот, официальная Россия была антиславянской тем, что хотела, не соображаясь с отдельными славянскими народами, а лишь всецело в зависимости от своих стратегических планов, округлить свою державу,

а, главное, — попасть в Константинополь. То, что при этом она приносила в жертву значительные части славянских народов, происходило не по злой воле, а скорее по слабости и неспособности.

О том, как Россия понимала славянский вопрос, можно судить по генералу Алексееву. У меня с ним был разговор (вернее спор) о мировом положении и о России. Человек осторожный, критический, со взглядами хотя и консервативными и узко русскими, он все же не боялся бы пожертвовать и царем для спасения России. Очень скоро и один из первых он увидел (в 1915 г.), что русская армия не может справиться с немцами; поэтому в то время, когда я с ним познакомился, какой-либо настоящей славянской программы он и не мог иметь. На наших земляков в России он смотрел довольно критически, и путаница в Петрограде ему не нравилась. О Европе, а особенно о нас и австровенгерских народах у него было неясное представление. В начале войны он представлял себе, что Австро-Венгрию можно разделить на государства, которые служили бы России; Чехия должна была распространиться к Адриатическому морю до Триеста и Фиуме и, таким образом, забрать значительную часть немецкой Австрии (с Веной!), но лишь малую часть Словакии, до Кошиц, за то очень много венгров. Таким образом, по этому русскому плану, чешское государство имело бы нечешское большинство! Сербия должна была растянуться до России, причем на севере к самому Ужгороду! Царь ведь обещал помочь Сербии, а потому Сербия должна была иметь общие границы с Россией — на севере! При этом с венграми не считались, несмотря на то, что в начале войны и Алексеев весьма считался с венграми и с тем, что они отделятся от Австрии; в таком случае, ради них безжалостно пожертвовали бы братьями славянами.

У русских давно была возможность и обязанность делать славянскую политику по отношению к полякам и малороссам: история этой политики является печальной главой русской истории и доказательством, насколько Россия была неславянская.

Царская Россия была не славянской, но византийской,

была испорчена упадочной Византией. Что касается специально нас, чехов, то Петроград боялся нашего либерализма и католицизма. Я узнал в министерстве иностранных дел (было там несколько приличных и честных людей), что о нас начали подробно говорить лишь тогда, когда нас начали признавать Париж и Лондон. Я уже обратил внимание на то, что прием мой Брианом произвел на русскую дипломатию впечатление; то же было и в Петрограде, как мне сообщили. Мои рассуждения против немецкого плана: «Берлин—Багдад» привлекли в Петрограде внимание; но Петрограду не нравилось, что я стал в Лондоне профессором, в этом видели умысел Англии овладеть нашим освободительным движением. В Петрограде также ходили слухи, что я работаю в Лондоне в пользу английского принца, как будущего короля. Таким образом, Лондон, а также Париж обратили внимание царской России на наше революционное движение и на весь наш вопрос; а Чехия стала для Петрограда важна, как барьер против немецкого напора на Балканы и на Восток вообще; из этих соображений возникла осенью 1916 г. политика, окончившаяся созданием правительственного «Народного Совета» Дюриха.

46.

Я уже касался несколько раз депутата Супило и его поездки в Россию; сейчас я хочу это описать подробнее по сообщениям самого Супилы.

В январе 1915 г. Супило покинул Лондон и поехал через Рим в Ниш (там было сербское правительство), чтобы посоветоваться с Пашичем. Из Ниша он отправился через Южную Россию в Петроград, дабы привлечь Сазонова и, вообще, Россию и настроить их против планов, о которых уже тогда шептали и которые осуществились в Лондонском договоре с Италией. Супило был в Петрограде в конце марта; в Женеве (в начале июня) он мне передал обширное сообщение о своем пребывании в России.

Он убедился, что официальная Россия совершенно не по-

нимает славянского вопроса и помнит о сербах лишь, как о православных. Сазонов, например, доказывал ему, что Спалато совершенно итальянский город; он также различал Далмацию православную и католическую, причем полагал, что православные (сербы) находятся на юге; он, по словам Супило, был очень удивлен, когда последний сказал ему, что православные находятся по преимуществу в средней Далмации, т. е. в той части, которую Россия уступала Италии. Этим, как раз, Сазонов и выдал ему существование договора с Италией; в связи с этим Сазонов ему сказал, что югославяне получат воображаемый православный юг и Спалато; по тому, как Сазонов выдвигал Спалато, Супило догадался, что северная Далмация по планам не должна принадлежать югославянам, и прямо поставил вопрос, что будет с городом Себеника? В свою очередь, русский министр иностранных дел решил, что, значит, Супило известно о союзнических планах относительно Италии, и рассказал дальнейшие подробности. Таким образом, Супило узнал о Лондонском договоре до его возникновения; он сейчас же протелеграфировал о положении вещей Пашичу и Трумбичу, а в Париж послал Делькаллэ обширный меморандум.

Супило интересовал не только размер территориальных концессий, даваемых Италии, но и то, будут ли югославяне соединены или же и в дальнейшем будущем они останутся разделенными на три части (Сербия — Хорватия — Черногория). Лондонский договор, в этом не может быть сомнения, был направлен против единения югославянских земель и склонялся скорее к великосербской программе. На Западе поговаривали, что Сазонов был очень давно настроен против Италии; иные утверждали, что он был против нее настроен лишь постольку, поскольку ему не хотелось, чтобы Италии досталась южная Далмация, которую он по ошибке считал православной. Эти вопросы не выяснены достаточно еще до сих пор.

Супило был и у Николая Николаевича. Его рассказ о длинном разговоре с русским генералиссимусом и его приближенными давал ужасную картину политической наивности русских руководящих лиц и их невежества не только в области славянского вопроса.

Супило был прав; но я не был согласен с его взволнованной тактикой, благодаря которой он настроил Петроград не только против себя, но и против всех хорватов, а также обострил еще больше споры между хорватами и сербами. Супило не понял, что Россия очутилась в тяжелом положении вследствие нанесенных ей поражений и что союз с Италией она, вместе с остальными союзниками, заключила по необходимости; нужно было считаться также и с тем, что сербская династия и иностранная политика были ориентированы консервативно, за царя. После заключения Лондонского договора, Пашич хотел сам ехать в Петроград, но Сазонов не счел это своевременным и нужным.

Из всего царского славянофильства не осуществилось ничего, кроме того, что Петербург стал Петроградом. Я уже говорил, что официальному Петрограду я очень скоро изложил нашу национальную и славянскую программу, повторял я это довольно часто; я предполагаю, что об этом докладывали также лондонский и парижский послы. И тем не менее, послы в Париже, Лондоне и Риме не получали о нас никаких политических инструкций; мне известно лишь об обмене несколькими неважными письмами между Петроградом и заграничными учреждениями. Нет ни одного действия царского правительства, которое равнялось бы выступлению Бриана или программному заявлению президента Вильсона: это первое программное заявление союзников о нашем освобождении не было — как мы могли бы ожидать — сделано по русской инициативе, или благодаря русскому старанию, а благодаря пониманию и помощи западных союзников и прежде всего Франции (Извольский заявление просто подписал). Да ведь, наконец, наиболее яркой иллюстрацией царского славянофильства может служить история нашей армии.

47.

Как и все остальные колонии, так же и наши русские колонии высказались уже в начале войны за свободу и независимость народа и начали стараться создать войско из русских

чехов и словаков. Эти выступления чешских колоний были всюду инстинктивны и были логическим последствием нашей национальной программы. После парижской колонии, которая выступила первой, московские чехи подали (4-го августа) правительству проект чехословацких легионов; это было еще накануне объявления Австрией войны Росеии. В конце августа чехословацкие легионы начали образовываться, а в конце октября Дружина — это название утвердилось за русскими легионами — выступила на фронт.

Дружина была разрешена властями русским чехам, как русским гражданам и как часть русской армии; но когда в Дружину начали записываться пленные, то стало ясно политическое неравенство между дружинниками, русскими гражданами, и нашими, пришедшими из дому. Многие русские офицеры были против нерусских граждан; но после преодоления всех трудностей, которые чинили русские учреждения, был разрешен набор среди «надежных» пленных, которые в скором времени составили большинство (так называемые «новодружинники» — это было название пленных, вступивших в Дружину у Тарнова в 1915 г.; вступивших позднее так уже не называли). Русское правительство требовало, чтобы пленные перешли в русское подданство и чтобы, по крайней мере, треть офицеров была русская.

Правительство хотело создать из наших надежное русское войско; помимо этого уже в самом начале русские военные учреждения и особенно генеральный штаб определили Дружине не военную, а политическую задачу: при оккупации Австрии Дружина должна была быть сборищем пропагандистов, облегчающих среди населения оккупацию русским. Невоенный характер Дружины был уже официально подтвержден тем, что в Дружине не требовалась такая дисциплина, как в армии; для нее, говорилось, требуется лишь настолько дисциплины, насколько нужно, чтобы она могла в порядке дойти до места своей пропаганды.

Развитие событий привело к тому, что Дружину начали употреблять в целях шпионажа; ловкость, интеллигентность и знание языков наших солдат этому способствовали. Дружин-

ники, несмотря на сопротивление военных учреждений и многих русских офицеров, добились симпатии Радко-Дмитриева, Брусилова и других командиров и закрепили за собою разведочную службу. Конечно, благодаря этому Дружина была разбросана по всему протяжению фронта и не могла быть применена, как целое.

Я не буду здесь рисовать всех несчастий наших чешских солдат, всех притеснений и разочарований, как с русской, так и с чешской стороны, — но они выдержали и не растратили ни своего славянского чувства, ни симпатий к русским, к русскому солдату-мужику прежде всего. На русских офицеров они скоро начали смотреть скептически.

Русское правительство и военные учреждения и не желали большого чехословацкого войска; по всему было ясно, что военные учреждения не хотели иметь большой иностранной военной единицы. Несмотря на это, в январе 1916 г., Дружина превратилась в чехословацкий стрелковый полк, а в мае была разрешена бригада. Правда, все это было скорее по названию, так как количество солдат было незначительное, но все же это было начало. В это время в России уже был Штефаник и благодаря своему влиянию содействовал, хотя пока и чисто формальному, но все же расширению первоначальной дружины. В октябре даже была разрешена формировка дивизии, но вскоре это разрешение было отменено.

Наша колония, скоро организовавшаяся в «Союз» (от 11 марта 1915 г.) заботилась с любовью и восторгом о создании «Дружины»; со всех сторон была видна готовность к жертвам; особенно после Зборова киевские чехи заботились всевозможным образом о раненых и больных. С любовью вспоминаю о семье Червеных; у наших солдат была прекрасная медицинская помощь в лице д-ра Гирсы, д-ра Геринга и других.

Лично я умел смотреть объективно на разницу в политических воззрениях и мог встречаться и с консервативными соотечественниками; но я не мог не видеть, что многим не доставало политического кругозора и военного понимания. Союз был организацией русской (русских граждан) и правительственной, а потому он принимал официальный взгляд на про-

пагандистские задачи Дружины; руководители Союза были довольны малым войском из страха, что в боях народ потеряет своих будущих граждан. Многих удовлетворял военный символизм (освящение знамени и т. д.), иные агитировали, чтобы наши переходили в православие (агитировали за православие и среди пленных, например, торжественный переход военнопленных офицеров в Муроме), вообще, вели себя крайне не по-военному. Некоторые выдумывали прямо нелепые определения того, каков и каким должен быть настоящий чешский солдат, и тому подобные забавы.

Возникли недоразумения между Петроградом и Киевом, потом в самом Киеве; здесь было основано удивительное «Чехословацкое Единение», которое нападало на Союз и доносило на всех, особенно же на меня и мое пресловутое западничество. Все эти жалобы и доносы, неправды и ложь направлялись по адресу военных русских учреждений и министерств; лучшие офицеры (сам генерал Алексеев) получили скоро к этому отвращение, но у многих из них, так же как и в министерстве иностранных дел, эти сплетни нашли отзвук.

Я не буду описывать все эти невозможные и бессмысленные поступки, о которых мне рассказали в России в самих официальных учреждениях. Скажу только, что под фирмой славянства устраивались настоящие оргии черносотенства и близорукости. Основной факт заключался в том, что в нашей армии все же решающее значение имели пленные и, наконец, после революции они преодолели эти плоды русского воспитания. Политическая безграмотность русского царизма и его взяточничество испортили не только русское общество, но и много наших людей.

Когда я приехал в Петроград, то споры между Петроградом (более передовым) и Киевом (в общем, консервативным), между «Союзом» и «Единением» и т. д. были формально закончены. Петроградская оппозиция так же, как и состав сотрудников Союза и большинство лагерей примкнула к Парижскому Национальному Совету. Наша бригада, как уже было упомянуто, признала Национальный Совет в Париже руководящим политическим авторитетом, а меня диктатором (20 марта 1917 г.).

После этого, 23-го марта и «Союз» сообщил мне, что признает меня единственным представителем чехословацкого народа. В начале мая, наконец, начались в Киеве заседания съезда «Союза» (III), на котором большинством была принята программа Национального Совета. Формальное значение имеет, так называемый, Киевский Договор, подписанный Штефаником, Дюрихом, представителями Союза и американской делегацией. Таким образом, споры, тянувшиеся почти с самого начала войны, были, по крайней мере, внешне отстранены. Я нашел, однако, еще достаточно личных обид и кислых отношений.

Не хочу быть несправедливым к нашим политикам из чешской и словацкой колонии в России; было время, когда наши пленные и граждане из Чехии и Словакии, застигнутые войной и застрявшие в России, также возлагали свои надежды на официальную Россию. И только после познания России и после революции изменились взгляды. Тем большей становится заслуга петроградцев, которые с самого начала и особенно во время правления Штюрмера защищали более критическое отношение к России и крепко держались за программу едино-освободительного движения. По этому поводу особенно вспоминаю три имени: Павлу, Чермак, Клецанда. В это же время к петроградскому направлению примкнули и наши пленные: в последние месяцы 1916 г. и в начале 1917 г., еще перед революцией, из наших лагерей уже слышались голоса, требовавшие единого фронта с Национальным Советом в Париже.

Было бы интересной работой проследить, как пленные политически организовывались в отдельных лагерях и как они выражали свои взгляды в различных меморандумах, посылавшихся не только в Союз, но и русскому правительству. Лагеря были отделены один от другого, и большинство их заявлений, полагаю, происходило без переговоров друг с другом.

48.

Моей первой заботой при приезде в Петроград было ориентироваться в положении и подробно узнать, насколько подвинулось наше военное предприятие с 1914 г.: прежде меня время

от времени осведомляли по почте, приезжали ко мне наши люди из России и русские, посылал и я своих личных послов, наконец, у меня были сообщения от Штефаника, но лишь теперь я мог подробно изучить историю нашего движения в России.

Опираясь на прежнее знакомство с официальной Россией, я уже наперед не ожидал, чтобы она слишком охотно согласилась на создание войска; поражения сперва в 1914, а потом и в 1915 гг., естественно, не повысили настроений и стремлений русского режима к созданию какого бы то ни было нерусского войска.

1916 г. принес наступление Брусилова, повысились и надежды, и кроме того, нашим движением в России заинтересовалась Франция через генерала Штефаника, о плане которого в том виде, как мы его набросали в Париже, я уже говорил. Однако, и наступление Брусилова потерпело неудачу, и снова настало пессимистическое настроение, безразличное к какому бы то ни было новому действию.

Неопределенность настроения наших людей, не знавших, чего они собственно хотят и отвратительные споры их между собой отпугивали русских; говоря по совести, я часто удивлялся, что у них еще было столько терпения с нашими.

В январе 1915 г. д-р Вондрак подал от Киевской группы министерству иностранных дел и военному министерству проект чешского войска. В нем требовалось, чтобы «Союз» был признан русским правительством представителем чешского народа. Просителям не пришло в голову, что у них должно было быть какое-нибудь полномочие от народа в том случае, если они хотят иметь некий авторитет в России, а кроме того, русское правительство не может назначать тех, кто должен представлять наш народ. Они могли лишь представлять наших колонистов, русских граждан, будучи сами русскими гражданами. Просили о создании небольшого войска, самое большее, одной дивизии; это войско должно было принять участие в действиях лишь при оккупации Словакии, которая будет составлять часть будущего чешского государства. Киевляне боялись, что австрийцы казнили бы взятых в плен чешских солдат; это нуж-

но было предотвратить оккупацией Словакии, объявлением самостоятельности чешского государства и свержением Габсбургской династии; кроме того, Россия должна была обеспечить в какой бы то ни было форме будущее чехов, как это было сделано с поляками, то-есть при помощи манифеста верховного главнокомандующего. Но если бы, несмотря на это, австрийцы все же бы вешали пленных, необходимо было платить им той же монетой — эти политические наивности не нашли отзвука ни среди солдат, ни в министерствах, а потому министерство внутренних дел (Маклаков) решило в мае дело категорическим заявлением об отказе в просьбе.

Для характеристики проекта приведу еще, что в нем заявлялось, что офицеры, если бы даже они и были чехами, в войско приняты не будут — подобные ненужные вопросы перетряхивались в колонии с большим оживлением; многие офицеры, желавшие поступить в Дружину, а позднее и в бригаду были, в полном смысле слова, морально измучены этими штатскими составителями проектов. Стремление иметь прямо идеальное славянское, демократическое, братское и т. д. войско, вызывало планы, кончавшиеся пустопорожними измышлениями о качествах нашего настоящего солдата. Говоря по правде, подобные планы, имевшие наилучшие умыслы, зарождались в головах и «новодружинников» и солдат-военнопленных.

На II съезде Чехословацких Обществ в Киеве (25 апреля — 1 мая 1916 г.) было постановлено, что из бригады должна быть сформирована армия и что необходимо заботиться об освобождении пленных. Это постановление соответствовало плану, составленному во всех подробностях в Париже, в феврале, о котором мы послали в Россию подробное сообщение. Депутат Дюрих приехал в Россию в конце июня и действовал (по крайней мере, вначале) в том же духе.

«Союз» (теперь в Киеве) подал в июне 1916 г. Ставке новый проект чешского войска, который и был генералом Алексеевым рекомендован генеральному штабу для разработки и формулировки; генеральный штаб это сделал, но, конечно, по-своему. Однако, Ставка даже этот план, формулированный генеральным штабом, не одобрила; у министерства иностранных дел

были возражения; генерал Алексеев узнал через генерала Червинку о различных беспорядках в войске, о жалобах «Единения» и т. д., а потому также начал противиться проекту «Союза». Так в начале августа и был погребен проект «Союза».

Наши соотечественники придавали большое значение тому, что царь сам желал освобождения славянских пленных. Принципиально, он согласился с освобождением уже 21 апреля 1916 г., а 10-го июня одобрил рапорт генерала Шуваева, усердно хлопотавшего за облегчение положения славянских пленных. Конечно, это было лишь освобождение пленных, от которого было еще далеко до формирования войск. Это знали киевляне, а потому уже в своем первом проекте, хотя и ссылались на слова царя при аудиенции, требовали также заявления ответственного правительства — Россия, хотя и не вполне, но все же была конституционным государством.

В пользу пленных после августовских неуспехов высказались и некоторые влиятельные особы; между ними был и генерал Брусилов, подавший 6-го января 1917 г. обширный рапорт генералу Алексееву. Но и Брусилов не имел успеха.

Из оппозиции к Западу, из отвращения к симпатии, высказывавшейся нам в Англии и во Франции, министерство иностранных дел, как уже было сказано, стало осенью 1916 г. уделять больше внимания чехословацкому освободительному движению и решило, что будет его контролировать и направлять. В начале декабря штатские и военные черносотенцы начали осуществлять свой план создания особого Национального Совета для России; 17-го декабря военному министру был подан проект, чтобы депутат Дюрих был поставлен во главе правительственного Национального Совета. 23-го января 1917 г. дал свое согласие совет министров, а 2-го февраля военный министр Беляев.

Несмотря на то, что официально Петроград поддерживал депутата Дюриха, он все же не вполне соглашался с его политикой. Депутат Дюрих выдавал себя всюду, а также и в России, за приверженца политики д-ра Крамаржа и агитировал за присоединение наших земель к России; он даже высказывался

за переход в православие. Но деятели министерства иностранных дел знали о страхе Англии и Франции перед панславизмом и панруссизмом, а потому план Дюриха об аннексии с некой автономией отвергали, по крайней мере, сокращали; им также, как уже было сказано, не нравился наш либерализм и католицизм. Поэтому они приняли мою программу полной независимости, но добивались контроля над нами.

Я не буду здесь рассказывать подробно о том, как принципиальное согласие царя на освобождение славянских пленных превратилось во враждебные выступления мин. Штюрмера, а после него и Трепова (Трепов получил пост министра после Штюрмера 23-го ноября 1916 г.); мне давались разнообразнейшие объяснения, но, говоря откровенно, у меня не было ни времени, ни желания заниматься подробно этим вопросом. Естественно, что наши люди приписывали Штюрмеру всевозможные германофильские козни. В какой степени, действительно, здесь были политические и германофильские тенденции, я не буду решать; известную роль они должны были все же играть.

Наиболее реальным объяснением мне кажется следующее: Штюрмер был против освобождения пленных (наших и, вообще, славянских) по требованию капиталистических кругов. Особенно чешские пленные были прекрасными, квалифицированными рабочими на фабриках, а также подходили для угольных и иных шахт. С этим соглашались и некоторые наши фабриканты в Киеве, которые поэтому стояли за малые и невоенные легионы.

Это объяснение подтверждается тем фактом, что позднее и Временное Правительство не забыло наших рабочих специалистов и не хотело отпустить их на войну.

Сам царь подпал под влияние Штюрмера и позволил, чтобы его июньское разрешение освобождения славянских пленных не было выполнено. Так мне, по крайней мере, излагал ход событий мой достоверный информатор. По той же причине в письме царицы к царю от 17 августа 1916 г. требуется от имени Распутина, чтобы славянские пленные не были освобождены (письма царицы были напечатаны). Может быть царское разрешение (так, по крайней мере, мне сообщали) должно

было быть удовлетворено последовательным призывом малого количества пленных в легионы; таким образом, наша бригада увеличилась бы в незначительной мере и из нее никогда бы не вышла армия. Второе письмо царицы к царю о том же вопросе от 27 августа подтверждает это объяснение.

49.

Штефаник, а с ним и французская миссия (1916—1917 гг.) настаивал в военных и гражданских учреждениях на формировке нашего войска. Генеральный штаб в Петрограде создал комиссию для разработки правил создания нашего войска. И эта комиссия, подобно многим другим, затягивала вопрос; в октябре статут был готов, но его содержание не соответствовало нашему плану. Должна была быть создана Дружина немного побольше; войско должно было быть не автономным, нашим, но совершенно русским, с русскими высшими офицерами, русским командным составом и т. д. Этот план был передан генералом Червинкой Ставке. В дело вмешался «Союз», который, по праву, требовал, чтобы наше войско не только было русским, но и чешским. Ставка поручила генеральному штабу проект переработать. Окончательная редакция затянулась до февраля 1917 г. — в это время вспыхнула революция, и лишь новое, революционное правительство подтвердило ее.

Когда вспыхнула революция, то наши, так же как и русские, повернули в другую сторону. «Союз» подал (3-го апреля) председателю Временного Правительства заявление, направленное против Национального Совета Дюриха, и заявил, что вождем являюсь я; в обширном меморандуме, поданном Союзом Временному Правительству было формулировано следующее — представителем чехословацкого народа в международных вопросах являюсь я, в вопросах чехов и словаков в России — «Союз»; здесь повторяется неконституционная ошибка, которую допустили киевляне уже в своем первом проекте. Но не только «Союз», но и «Единение» поспешило с меморандумом, поданным председателю Думы, в котором остро напа-

дало на Штюрмера, Дюриха и других. Я не был удивлен поворотом и этой группы наших людей: в министерстве иностранных дел недавно Приклонский усиленно заступался за Дюриха — после революции, он же тотчас угрожал ему арестом...

Военным министром Временного Правительства был Гучков. Он держался старых решений, направленных против нас и отказал «Союзу» в разрешении создать войско; зато он распорядился, чтобы наши квалифицированные рабочие были посланы на заводы, работавшие на оборону России. Однако, за наше дело взялся министр иностранных дел Милюков; он просил Гучкова (20 марта), чтобы было разрешено войско по требованию «Союза»; что же касается желательного единого руководства всем движением, то необходимо подождать, пока приеду я. Кроме того, Милюков требовал (22 марта), чтобы был уничтожен «Народный Совет» Дюриха; Гучков это одобрил (26 марта). Наконец, 24 апреля военный совет Временного Правительства подтвердил «Правила организации чехословацкого войска».

Формирование войска по новым правилам началось в мае, и вел его генерал Червинка, как председатель формировочной комиссии; 22-го апреля генеральный штаб послал военным округам распоряжение, чтобы они допустили призыв наших пленных. В мае, как раз во-время, я приехал в Петроград.

50.

На Западе мы были уже давно признаны. Союзники объявили о нашем освобождении, как об одном из условий мира, с союзниками согласился и парижский дипломатический представитель России — в России же, благодаря революции, хотя и не непосредственно, но все же признаны в самый последний момент.

Осмыслим причины этого вопиющего различия.

Уже из данного мною прагматического рассказа — я давал лишь общую картину, отбрасывая подробности — видно, что русские гражданские и военные учреждения, начиная с

самого царя, обещали, но в действительности не осуществляли формировку нашего войска. У нас был одобренный проект, но его осуществление всюду наталкивалось на сопротивление, особенно же в самой Ставке. Задерживали его осуществление и чинили всевозможные препятствия.

Это положение вещей возникало из самой сущности официальной России и ее главных основ: самодержавие — православие — народность (официальная, русская). Для царской России мы были братьями и славянами второго сорта.

Тяжесть этого царского абсолютизма я чувствовал изо дня в день при своих бесконечных шагах во всевозможных военных и гражданских учреждениях. У меня был подписанный ордер на формировку нашей армии, мне давались обещания, выдавались приказы и т. д. — но осуществление застревало и встречало ярое сопротивление в самой Ставке. Отдельные лица постоянно обещали, но своих обещаний не сдерживали. Я вел переговоры с самыми влиятельными и высокопоставленными лицами, с Корниловым, а после него с Брусиловым и другими — все обещали, но шли месяцы, а создание армии все затягивалось.

Я замечал со всех сторон недоверие и непонимание. У военных учреждений в это время было достаточно возни со своим войском; солдат было больше, чем нужно, а потому чешское войско их не интересовало. Русские чиновники были, определенно, утомлены. Россия проиграла, армия распадалась — зачем еще чешское войско, зачем такое напряжение? Это, по крайней мере, была причина и причина основательная. Но многие совершенно определенно боялись нашего либерализма и католицизма, эти два понятия у них сливались. Одновременно, совершенно по русскому тройному рецепту высказывались опасения, что в случае если бы было создано национальное чешское войско, то было бы необходимо разрешить народное войско и полякам и иным народам в России. Поэтому удерживалась слабая бригада, как часть русского войска, и наши солдаты должны были присягать на верность России, несмотря на то, что некоторые генералы понимали, что по чисто военным доводам они должны были бы присягать, прежде всего, своему народу.

Очень часто я слышал жалобы на неблагодарность болгар — по всей вероятности и чехи подобным же образом отблагодарят Россию!

Большая часть русских военных, сидевших по разным учреждениям, все еще считала наших пленных за австрийцев. Они не могли понять, что они могли быть чехами и словаками и признавали легитимизм и для Австрии. Так как они ненавидели русскую революцию, то не признавали и революции чешской. Наши солдаты в лагерях должны были снова и снова выслушивать, что они присягали Францу-Иосифу и что, если изменили ему, то могут изменить и царю. В оправдание этих русских нужно припомнить, что против нас выступали с подобным аргументом, правда в самом начале, в Италии, Англии, Америке, а иногда и во Франции. Только благодаря объяснениям и частым повторениям своих доводов нам удалось избавиться от австрийства. У многих русских генералов и чиновников принцип легитимизма настолько глубоко засел, что они, вообще, не могли симпатизировать нашей революции. До известной степени это относится и к генералу Алексееву, которого наши люди считали своим лучшим другом; он им и был, но, одновременно, не мог избавиться от своих старо-русских взглядов.

На практике легитимистическим аргументом пользовались в том смысле, что в Австрии и в Германии могли бы также использовать русских пленных против России; этим аргументом пользовались особенно в Италии (Соннино). Что касается России, то аргумент не был совершенно неправильным, ибо немцы действительно и непрерывно вели уже среди русских пленных пропаганду в пользу Германии.

Сильный довод против нашей большой армии имели те реакционеры, которые в глубине души были против Запада и союзников; они не желали, чтобы наше войско шло во Францию. В этом отношении они могли ссылаться на наших сограждан; генерал Червинка также был против перевозки войска во Францию. Я привожу для примера, как мне объяснял свое отвращение к Западу один весьма влиятельный реакционер: наступление Брусилова — доказывал он — не принесло России

никакой пользы, несмотря на то, что было взято в плен полмиллиона солдат и почти миллион орудий (в действительности, было около 250.000 пленных; количество орудий нужно еще больше сократить). Брусилов должен был ускорить свое наступление по настоянию царя, несмотря на то, что еще не был готов; а царя на это толкнул итальянский король — вот вам доказательство, что Россия работает не на прусского короля, но на королей и президентов Запада!

Я уже говорил, что споры наших соотечественников и взаимные доносы и жалобы оттолкнули многих русских военных; было также много военных, которым не нравились чрезмерные парады. Главным же образом, на русские военные и гражданские учреждения действовало отвращение наших же к большой армии. Об этом мне говорил генерал Алексеев в Ставке. От членов «Отделения Национального Совета» у меня были сведения, что председатель «Союза» еще осенью 1916 г. т. е. в то время, когда шли переговоры о войске, определенно требовал лишь малое войско. Он боялся человеческих жертв.

Наконец, революция все поправила; Милюкова я привлек к нашему делу еще в Англии, а, благодаря счастливой судьбе, он, как раз, и стал министром иностранных дел. Поддаваясь новому направлению, генерал Духонин (бывший, как раз, в это время главным квартирмейстером) дал 13 июня 1917 г. приказ о том, чтобы бригада была расширена до четырех полков, а также, чтоб был расширен и запасный батальон для ожидаемого дальнейшего увеличения войска. Наконец, после Зборова, у которого наша бригада отличилась не только храбростью, но и стратегической ловкостью, положение улучшилось и в военном отношении. Наши солдаты получили официальную благодарность, и имя чешской бригады проникло в широкие русские круги. В награду, верховное командование дало приказ о формировании другой дивизии.

И, несмотря на это, формирование все затягивалось и затягивалось. Нужно понять, что петроградское революционное правительство, в самой основе своей, было иным, чем войско и его командный состав; в правительстве заседали либералы

и социалисты, а военные высшие учреждения были настроены или монархически или, по крайней мере, по военному, весь военный аппарат остался старый. Милюков и либералы признавали меня, Парижский Национальный Совет и нашу программу, а военные действовали по своей старой привычке.

Но и социалисты и либералы всех направлений были настроены против нас, называли нас шовинистами. Свободомыслящие и передовые русские были испокон века в оппозиции к правительству и официальной народности, а потому были и против наших стремлений, в особенности тогда, когда из спора и борьбы наших двух направлений, правого и левого, они увидели, что многие из наших людей были реакционерами. По этой причине Керенский, как военный министр, дал прямо приказ о роспуске нашей бригады; то же самое приказал и новый главнокомандующий Киевским округом Оберучев — социалист-революционер. Министру Керенскому я изложил дело в меморандуме от 22 мая, под влиянием моего вмешательства успокоился и полковник Оберучев. В иную сторону все повернул Зборов.

После революции новое правительство получило в свои руки акты всех учреждений, в которых нашлись всевозможные официальные и неофициальные сведения, компрометировавшие некоторых наших граждан; развязались языки и у некоторых либеральных чиновников, рассказавших мне, что делалось при царском правительстве в министерстве иностранных дел и в иных местах. Меня уверяли, что влиятельный член «Союза» был в непосредственных сношениях с охранкой и Протопоповым, а от этого понятное отвращение к нашему войску не только в правительственных, но и военных кругах; против охранки и Протопопова были настроены и приличные русские консерваторы.

Будет ясно, каково было наше положение, если мы сравним судьбу нашей бригады и сербских легионов. Для сербов сербский посол Спалайкович довольно легко добился разрешения формировать из австрийских пленных сербские легионы. У сербов было самостоятельное государство, сербы были союзниками, имели в Петрограде официального представителя,

были православными, а потому русские учреждения, несмотря на свои легитимистические возражения, которые делали нам, легко разрешили сербам набор среди австрийских пленных. Уже в 1915 г. было послано в Сербию несколько транспортов. В Одессе был сербский генерал Живкович, к которому были присланы сербские офицеры и унтер-офицеры, и так в 1916 г. была сформирована первая сербская дивизия. В эту дивизию пошло много наших офицеров и солдат, которые уже не могли дождаться чешского войска. Сербы обещали нашим, что создадут особый чешский отдел, но до этого дело не дошло; против этого вели агитацию из Киева, и многие из наших потом покинули сербскую дивизию.

Судьба этой сербской дивизии, а с ней и наших солдат была печальна. Стратегически бесплодными оказались геройские бои в Добрудже против натиска Макензена; зато они сблизили нас с сербами и усилили совместную нашу деятельность. Здесь не место распространяться о том, как началось формирование второй дивизии и как из-за внутренних споров и трений она должна была быть распущена. Я привожу здесь историю сербских легий постольку, поскольку она нужна для того, чтобы стало ясно отношение официальной России к нам и к Сербии. Одновременно, я пользуюсь случаем, чтобы вспомнить с благодарностью о тех наших офицерах и солдатах, которые пожертвовали своею жизнью на равнинах Добруджи за общую нашу свободу и за Сербию. В начале 1917 г. (в апреле) наши были отпущены сербским командным составом из сербских легионов, дабы они могли вернуться в Киев и вступить в нашу армию.

Существует анекдот о начальнике какой-то крепости, который приводит сотню причин, почему он не приветствовал императора Иосифа при его приезде стрельбой; последняя из этих причин та, что в крепости не было пороха. В подобном же положении по отношению ко мне были русские военные учреждения. Они приводили мне всевозможные объяснения, причины и увертки, как я их определял по их речам, но не сказали мне того, что я узнал лишь после большевицкой революции: руководящие военные и правительственные учреждения

уже в 1915 г. постановили, что чешская армия не будет создана. Как я уже сказал, об этом я узнал лишь после большевицкого переворота; эти сведения доставил мне сербский военный атташе Лонткевич*).

Я понимал, что военные привыкли слушаться, что они чувствовали себя связанными постановлением и деловой тайной; однако, мне было очень неприятно, что ни Корнилов, ни Брусилов, при всем своем уважении к нашим солдатам, не решались изменить постановления, сделанного при совершенно иных условиях. Для меня было ясно, почему царские обещания оставались неисполненными и почему признанный, наконец, формировочный статут не соответствовал нашей программе.

Я получил из Вены достоверные сведения, что там знали о затяжках и неохоте русских учреждений и страшно этому радовались. Наши люди видели в этом постоянном затягивании дела русскими военными и гражданскими учреждениями взятку со стороны Австрии, и подвергалась обсуждению мысль, что здесь идет дело об австрийском влиянии. В споре наших партий и в создании «Народного Совета» Дюриха многим мерещилась рука Австрии (без ведома самого Дюриха); о Приклонском, организаторе правительственного Национального Совета, открыто твердили (в этом обвиняли его и русские), что он является платным мадьярофилом (он был перед войной консулом в Будапеште, после революции его снова там видели). Генерал Штефаник высказывал обоснованные как-будто подозрения и против одного из киевских деятелей — если это правда, то это был бы единственный случай измены. Я высказал Штефанику сомнения в правдоподобности факта; он мне обещал подробные письменные доказательства, очевидно, они сгорели при падении его аэроплана. Я еще и сейчас сомневаюсь, что они могли бы что-нибудь доказать.

---

*) К сожалению, он умер. Он мне обещал в Киеве, что пошлет мне через посольство копию этих постановлений в Париж или в Америку: я их не получил, если даже он их и послал.

51.

Изучив положение и познакомившись с главными действующими лицами, я составил и свой план.

Наше военное предприятие было весьма осложнено разнородностью и большим количеством всевозможных инстанций. В Петрограде — военное министерство, генеральный штаб, к тому же еще министерство иностранных дел и совет министров; в Могилеве — Ставка (главное командование), в Киеве — военные учреждения округа (Киевского), в конце концов, слово еще имел главнокомандующий и начальник и штаб той армии, к которой наши части были прикомандированы. Это было непрерывное хождение от Анны к Каифе и Пилату. А бесконечные путешествия из города в город! Всюду и от каждого мы должны были получить какую-то «бумагу», а ее нескоро писали — в России и войско, как и все, было бюрократизировано.

Значительную помощь оказывали мне послы союзнических держав; все они нам охотно помогали и поддерживали нас в русских учреждениях, когда мы вытягивали из них различные, менее значительные льготы; одинаково полезными были для нас и военные атташе, обычно бывшие при Ставке в Могилеве.

Основанием и устройством «Отделения» парижского Национального Совета работа была упрощена; таким образом, отпали различные местные учреждения. Прежде был «Союз» и «Единение» и оба вмешивались в военные дела; позднее рядом с «Союзом» возник правительственный «Народный Совет» (Дюрих), и «Союз» сделался чем-то вроде консульства. К Дружине были откомандированы политические (пропагандистского характера) помощники; это соответствовало первоначальному плану пропагандистской дружины; они должны были быть соединяющими звеньями между военным начальником Дружины и иными высшими начальниками и правлением Союза (в некоторых случаях и между нашими солдатами и нашими организациями в тылу). Вначале был один такой помощник (Тучек); он был назначен генеральным штабом; потом число их было увеличено еще двумя (Я. Рейман и за словаков Я. Орсаг), назначенными командиром Дружины.

Благодаря созданию Отделения центрального Парижского Национального Совета наступило упрощение. По приезде в Россию, я становился, по организационному статуту, главой Отделения, и этим работа упрощалась. Настал больший порядок и работалось в одном направлении, чем мы приобрели доверие русских и представителей союзников.

Мы расширили Отделение Национального Совета и разделили работу; главным занятием было, однако, войско и его расширение. Корреспонденция с пленными, — с отдельными лицами и с организациями — была огромная. Члены Отделения и многие офицеры и военные должны были посещать лагеря и вести набор. Скоро у нас возникли финансовые затруднения; был переделан уже более старый план и был объявлен национальный заем. По возможности я упрощал дело и в отношениях с русскими. Например, в Киеве была военная комиссия, заведывавшая формировкой войска; комиссия была русская, и вот, вместо многочисленной комиссии, я добился одного инспектора, это было важно еще потому, что члены комиссии были к нам враждебно настроены.

Прекрасным помощником для меня был Юрий Клеманда, к сожалению, так рано умерший; был он удивительно милый человек, преданный делу и неутомимый работник. Он хорошо знал условия жизни в Петрограде, в министерствах и в армии, а благодаря своей литературной деятельности был в связи с академиками и профессорами. Как секретарь Отделения, он ходил со мной по всем военным и гражданским учреждениям. Многие шаги и меры он сам успешно провел. В начале нашей деятельности в России он подпал, до известной степени, под влияние фантазии своей русской и чешской среды, но борьба Киева с Петроградом его скоро вылечила и он стал верным исполнителем нашей программы. У него великие заслуги перед нашим делом.

Клеманда был секретарем Отделения; моим личным секретарем был молодой историк Папоушек.

Для технической стороны формирования нашего войска был назначен, как чех по происхождению, генерал Червинка. Он был подходящим посредником между русским правитель-

ством и «Союзом», позднее правительственным Национальным Советом; вскоре после объявления войны он был прикомандирован к киевскому военному округу, где получил руководство чешскими военными делами. Еще позже, когда осенью 1916 г. генеральный штаб дал правила формирования войска, ему было доверено формирование нашего войска. Он был русским солдатом, и уже потому у него случались споры с «Союзом» и с «Единением», но он преданно работал для чешского дела; он был консерватором и не во всем соглашался со мной, но это нам не мешало в совместной работе.

Нашей задачей было создать армию, или, как мы говорили в России, «корпус» из первоначальной дружины, переделанной в бригаду, потом в дивизию, и из ядра второй дивизии. План был таков — создать вначале один корпус и потом подготовлять другой, ибо пленных, идущих добровольцами в армию, было достаточно. Я продолжал там, где кончил Штефаник. Против русского плана создания пропагандистского войска, войска политического, Штефаник выставлял наш план, доказывавший необходимость настоящего, как можно большего войска, которое должно было быть послано во Францию. Об этом мы договорились сейчас же после признания Брианом нашей антиавстрийской программы.

52.

Хочу, чтобы стало ясно, чем мой план отличался от плана русского и плана «Союза»; для меня было важно, чтобы у нас в России была своя армия, которой бы распоряжались мы сами. Не было достаточно, чтобы она была частью русской армии; в таком случае ее могли бы нам разбросать по частям на огромно растянутом фронте, и армия, как целое, не могла бы получить применения. Далее, было важно иметь как можно большую армию, действительно военную и ни в коем случае не политическую армию. Дело было также в духе нашей армии — она должна была быть нашей, не русской, хотя и руссофильской; мне лично было безразлично, какой будет командный состав — русский или чешский, важно было, каковы были командиры,

каков был дух армии, чему и как она служила. Чешское войско должно было ясно сознавать, почему оно воюет и каких политических целей добивается; оно должно было присягать своему народу — одним словом, оно должно было быть нашим войском.

Во-вторых: армия должна была быть перевезена во Францию. Об этом сговорились в прошлом году в Париже и с тех пор до моего приезда Штефаник работал над этим в России.

Противники Франции и Запада были, вообще, против этого и против перевозки наших пленных во Францию; этот вопрос еще при царском правительстве разбирался в отдельных министерствах и в совете министров. Когда Альберт Тома приехал в Петроград, то от имени французского правительства возобновил просьбу, чтобы наше войско было перевезено во Францию; генеральный штаб тогда (постановлением от 14-го мая 1917 г.) план одобрил и очень основательно его поддержал — дело было уже после революции, и лед был сломлен. Я сговорился с французской военной миссией, что пока пошлем во Францию 30.000 пленных и среди них несколько тысяч югославян; А. Тома согласился и всеми силами помогал ускорению дела; договор с А. Тома является первым подписанным документом такого рода между Национальным Советом и государством, и снова Франция была той страной, которая признала наш Национальный Совет равноправной стороной. Часть пленных должна была работать во Франции на заводах. Нам было обещано (министерством иностранных дел и генеральным штабом), что транспорты в ближайшем времени пойдут через Архангельск. Несмотря на это, дело все тормозилось — de facto первый транспорт был отправлен лишь в ноябре; количественно он был гораздо меньше, чем то было для нас желательно. Мы, однако, надеялись, что скоро попадем во Францию через Сибирь.

Предположение, что армия будет во Франции, имело, конечно, некоторое влияние на организацию войска; мы завели французскую дисциплину, дабы после переезда не возникли затруднения во Франции — были приняты в войско французские офицеры связи.

Все мои старания были направлены на то, чтобы мы не были захвачены русским военным хаосом и чтобы вся армия держа-

лась вместе; в известном отношении это удалось именно благодаря упадку русской армии и развалу всей России. Наши солдаты видели лишь развал и это их отпугивало; в административном отношении развал помогал нам тем, что мы часто brevi manu доставали материал из русских военных складов, которые без нас бы раскрали. Мы пользовались, до известной степени, тактикой «fait accompli»; переговоры с учреждениями становились понемногу невозможными, такая всюду царила неопределенность, а кроме того день изо дня менялись руководящие лица. Только что я договорился с Корниловым, а на другой день уже был Брусилов и т. д. — полный развал и неопределенность.

Официальное разрешение формировать армию было лишь общим; для осуществления необходимо было уяснить подробности, а главное, необходимо было окончательно определить размер нашей армии. Я требовал сначала один корпус, а потом, в связи с обстоятельствами, и другой. Этого чрезвычайно важного решения я добился от генерала Духонина, назначенного начальником генерального штаба в Ставке; он знал и ценил наших солдат, их разведочную деятельность и поведение при Зборове; у него хватило смелости не считаться с устаревшими постановлениями русского правительства. Духонин, как уже было сказано, в июне расширил бригаду; он отличался от Брусилова, Корнилова, Алексеева и иных, которые тоже нас ценили и признавали, но не решались нарушать старый правительственный приказ. Итак, у нас был корпус и притом корпус по договору независимый; далее с Духониным было решено, что наше войско предназначается исключительно против нашего врага. Так был принят и подтвержден русскими же мой главный принцип о невмешательстве. Таким образом, мы достигли уверенности, что во время партийных споров и боев среди русских, нас не будут звать то одни, то другие. Этой формулировкой я успокоил на время также тот консервативный и реакционный элемент в русской армии, который до последнего момента противился нашей самостоятельной армии и боялся ее.

Вскоре после разрешения вопроса Духониным, я выбрал среди русских генералов начальником нашего корпуса генерала

Шокорова. Главой генерального штаба я сделал бывшего генерала Дитерихса; я узнал, что он в Киеве и работает на вокзале, как обыкновенный рабочий (я о нем слышал уже в Ставке); это была лишняя причина, почему я его выбрал для нашего генерального штаба. На практике только с назначением обоих руководящих лиц была закреплена организация корпуса.

Здесь я должен сказать еще несколько слов о генерале Духонине. Он был молодым, энергичным и талантливым офицером и очень честным человеком; он противился приказам Ленина, требовавшего, чтобы был заключен мир с центральными державами. Он понял наше положение и помог нам. К несчастью, большевики убили его (2-го декабря 1917 г.), когда под командой Крыленко завладели Ставкой. Тело убитого было варварски предано в течение нескольких дней поруганию на могилевском вокзале; наконец разрешили перевезти его в Киев для погребения. Мы сошлись на похороны, но они были запрещены; только после дальнейших упорных просьб и требований всех присутствовавших разрешили похоронить тело ночью.

Через несколько ней после похорон я посетил вдову и только теперь, к своему ужасу, узнал, что покойный охотно бы принял место командира нашего корпуса; Духонина даже намекала, что он ожидал этого предложения. Я, со своей стороны, когда намечал командира и советовался об этом с Духониным, не мог о нем и думать, полагая, что командование одним корпусом он счел бы за умаление своего высокого положения, а потому, естественно, этого места ему и не предлагал. Конечно, сделавшись нашим командиром, он покинул бы свое место в Могилеве и остался бы в живых... Будем же с уважением чтить его память — он сделал из слова и бумаги дело, положительное постановление Временного Правительства превратил в действительность.

Хоть одно слово, но все же нужно сказать о русских офицерах в нашей армии. Среди пленных у нас были офицеры лишь в низших чинах; генералов и начальников отдельных военных отделов и учреждений у нас не было, а потому в качестве главных командиров мы принимали русских офицеров.

Мы не могли назначать неподготовленных и неопытных, в большинстве случаев, молодых наших офицеров. Это всюду вытекало из положения дел. В России у нас высшие офицеры были русские, во Франции — французы, в Италии — итальянцы. В России на русский командный состав обращали тем большее внимание потому, что армию хотели видеть русской, а не чешской. Само собой разумеется, что благодаря этому всюду возникали затруднения; это усложнилось еще тем, что часть русских офицеров не понимала своего назначения. На многих, кроме того, можно было видеть влияние деморализации царского режима, как в администрации, так и в военной службе. У меня из-за этого было много затруднений. Даже часть наших офицеров и солдат, например, не поняла сразу, почему вскоре после своего приезда я отозвал начальника бригады Мамонтова, который пользовался любовью и доверием войска; он был определенно талантливым человеком, но, с другой стороны, был более журналистом и трибуном, чем солдатом.

В дружине слова команды были русские; уже во второй дивизии заводились чешские, а в корпусе были чешские; во многих случаях команда была лишь по имени чешская, так как не было времени и возможности не только скоро перевести на чешский язык русскую команду, но и приспособить ее к нашим потребностям. Это все зависело от организации всего войска.

53.

Вообще, нужно дать себе отчет во всех тех затруднениях, которые у нас были с организацией войска. Дело было не только в командовании и военных сигналах, но касалось всей военной администрации.

Солдаты были добровольцами; они добровольно заявили о своем желании поступить в войско, а этим самым уже была дана некая свобода. У нас перед глазами стоял идеал демократической армии; понятно, что в русском хаосе идеал свободы, равенства и братства понимался часто довольно анархически. Когда же после большевицкого переворота, большевизм на-

чал просачиваться и в наши ряды, было чрезвычайно трудной задачей выработать наспех демократическую систему дисциплины и повиновения, необходимых для войска на фронте. Мы приняли, как уже было сказано, французскую дисциплину с некоторыми временными изменениями.

Среди добровольцев, конечно, были приверженцы всех домашних партий и направлений, что также не способствовало облегчению; солдаты и особенно офицеры не всегда умели различать политику и стратегию. Но расхождения не были так остры, как дома, так как мы были на чужбине и вне домашней среды.

При таких условиях не было легкой задачей организовать войско чисто по-военному и достичь чисто военной специализации. Дело было, повторяю, не в том, будет ли команда русской или чешской, а в смысле этой команды, в многозначительных вопросах — какая стратегия и тактика соответствуют духу нашего народа. Во всяком случае, главным было то, чтобы добровольческую армию сделать совершенной в военном отношении. Я не мог скрывать сам перед собой, что при всей осторожности в организации армии и ее командного состава, как в целом, так и в частях и отделах, была известная доля дилетантизма. Я сам, не военный человек, должен был много думать, чтобы выполнить отдельные задачи. Дело было не только в создании войска, но и в самом войске, которое должно было удовлетворять военным требованиям в том случае, если бы мы столкнулись с превосходным в военном отношении неприятелем. Естественно, что наши сравнивали себя с окружающей их русской средой; но мы должны были помнить о немцах и пруссаках, с которыми мы хотели воевать. Военная специализация и дисциплина обеспечивают в бою меньший урон; не только милитаризм, но и человечность требуют хорошего вооружения и знания военного дела.

Положение требовало от отдельных личностей самостоятельности в суждениях и действиях; в общем, как раз в этом отношении, легионы хорошо себя зарекомендовали. В большом и в малом проявились талант и способность импровизировать.

Подражание большевицким примерам нельзя было просто

запретить. Поэтому мы ограничили комитеты, заведенные уже при Керенском, задачами экономическими, просветительными и т. д. Демократическая организация войска, особенно же добровольческого, требовала и определенного решающего голоса самих солдат. В демократической армии, понятно, сложен офицерский вопрос: какими преимуществами и отличиями офицер может и смеет пользоваться. Например, сейчас же возник вопрос, должны ли офицеры столоваться отдельно и еще целый ряд таких больших и мелких вопросов. Эти и подобные же вопросы нельзя было решать наспех, без опыта, всегда по одной мерке; при таких условиях не было возможно строгое единообразие, а потому в отдельных частях поступали более или менее самостоятельно.

Примером и школой для нас являлся Сокол со своими принципами и идеалами; конечно, я отлично сознавал разницу между солдатами и соколами, но сокольская идея имела значительное и хорошее влияние. Делались ошибки, но в общем опыт все же удался.

Весьма тяжелой была задача снабжения; у нас было свыше 40.000 солдат, для которых было необходимо достать оружие, одежду и обувь, хлеб и мясо. Как уже было сказано, развал русской армии нам до известной степени в этом помог. От украинских крестьян было нелегко добиться хлеба и муки, потому что они не хотели продавать за деньги и требовали инструменты, гвозди и т. д.; наконец, нам мешало непрерывно менявшееся политическое положение.

Вначале мы зависели от русских военных учреждений. Когда же мы стянули силы на Украине, то русские учреждения начали понемногу уступать свою власть украинским, поскольку Украина становилась самостоятельной. Одновременно мы не могли избежать переговоров с новыми возникавшими большевицкими властями, которые становились господствующими.

Тут же возник тяжелый вопрос транспорта, то-есть, как повезти наше войско на восток, потому что мы настаивали на том, что хотим через Сибирь, морским путем во Францию. Русские дороги изо дня в день портились и в смысле упра-

вления, и в смысле материала. Поэтому-то вопрос передвижения был таким трудным.

Естественно, что среди большого числа добровольцев не все были одинакового качества и не стояли на одном уровне. Так, уже само собой понятно, что не все записывались по идеальным, патриотическим побуждениям. Русские лагеря для военно-пленных были в большинстве случаев для наших очень дурны, — особенно скверно действовала неволя и бюрократический прижим политически необразованных начальников лагерей, а поэтому легионы для них означали освобождение. Это особенно верно по отношению к позднейшей послереволюционной эпохе 1917 и 1918 годов. Легионы предоставляли им также большую личную безопасность и лучшее обеспечение, особенно, на случай болезни; поступление в легионы охраняло их также перед Австрией — если бы они вернулись домой, то попали бы в австрийское войско, а там им было бы хуже и многие из них бы наверное погибли. И в этом отношении наше войско было спасением.

Солдаты сами хорошо следили за различными видами беглецов; перед битвой у Зборова ушло около ста стародружинников — все это были люди, рожденные и воспитанные в России. Однако, большая часть наших людей были хорошими и надежными солдатами, исполнявшими честно и успешно свои тяжелые обязанности. У меня было много случаев и возможностей наблюдать нашего солдата, а таким образом, и чешского человека.

Я не знаю точного количества чешских и словацких пленных в России, а потому не могу установить точного соотношения между легионерами и пленными; мне кажется, что количество тех, которые не записались к нам, довольно значительно. Точное выяснение вопроса могло бы дать хорошее мерило для общей сознательности и политической решимости.

Мои отношения с солдатами были хорошими, дружескими, товарищескими, несмотря на то, что в суждениях я был строг, иногда даже очень строг. Искренность, мне кажется, является наилучшим способом поддерживания хороших отношений между каждым высшим и низшим, командиром и солдатом; кроме

искренности, необходимы еще последовательность и, главное, справедливость. Войско неизменно держится на авторитете, особенно во время войны офицеры и командиры являются тем, чем в политической жизни лидеры. Но военные вожди не должны быть демагогами, за это, обычно, они сами скоро несут возмездие, ибо во время военных опасностей дело идет о жизни, а в опасности люди становятся реалистами и судят своих начальников без милости. Неверно понятый демократизм соблазняет офицеров и приводит их к демагогической неискренности и фальши.

Солдат непосредственнее штатского; во взаимных отношениях одного с другим, низшего к высшему и наоборот, нет тех формальностей, которые мы находим в гражданской жизни. Возникает особый род лаконизма, вызываемого точностью, ясностью и практичностью всего военного механизма; сравнительно большое равенство — то, что солдат не должен заботиться о хлебе, одежде, квартире, что тут нет экономической конкуренции и борьбы за существование, создает некую откровенность и искренность. Солдат живет постоянно в обществе своих товарищей, на глазах у всех и благодаря этому, как и всем своим занятиям, делается более объективным и менее личным. Его призвание уже по самой своей основе не скептично. Солдат всегда наивнее, он ребенок и с детскими слабостями; часто возникает ревность из-за того, что армия состоит из ступеней, чинов и обязанностей; герой перед лицом неприятеля — может в роте стать ребячливым и ничтожным. В наших легионах почти каждый проходил через огонь критики и соревнования. Были большие или меньшие трения между стародружинниками и позднейшими легионерами, резко критиковали тех, что пришли из сербских легионов, вспоминали грехи и грешки, особенно офицеров, бывших в австрийской армии, ревновали друг друга члены различных лагерей, разбросанных по России и т. д.

При этом, мы все время должны иметь в виду совершенно ненормальные русские условия, в которых формировалась армия.

При встречах с солдатами я убедился, что они питают

ко мне доверие. Они знали, что я дома защищал необходимость критической и трезвой политики; таким образом, они ожидали, что и в России я не буду иначе действовать и что я хорошо продумал то, что предпринимаю и чего хочу от них. Я предлагал им обоснованную программу, которую они принимали; наши солдаты были достаточно образованы, чтобы понять, и принять, и обсудить исторические и политические доводы. Я обращался к разуму, стремился убедить и призывал к жертве за убеждения. Я им говорил совершенно открыто о наших главных затруднениях. Они видели собственными глазами и убеждались на каждодневном опыте, что я забочусь о снабжении и об общем состоянии войска; наконец, я думаю, на них действовала в положительном смысле моя простая жизнь и то, что я не боялся или, вернее, умел скрывать страх. Во время большевицкой революции в Петрограде, Москве и Киеве я им дал не одно доказательство, что при исполнении своих обязанностей я не уклоняюсь от опасности, грозящей моей жизни. Так я добился права требовать от них жертв, даже высшей жертвы — жизни.

Наш солдат хороший боец, храбрый, доходящий до самых отважных геройских поступков; но он должен знать, за что он воюет; жертвенность во имя слепого послушания, как ее требовали и воспитывали в австрийской армии, была очень скоро преодолена. Воскрешение гуситского духа не было пустым лозунгом, но реальным чувством и решимостью; поэтому-то наименование наших полков именами Гуса, Жижки и т. д., как это было сделано после битвы у Зборова, не было пустым историческим украшением. То, что гуситская идея не была проведена последовательно и во всех областях ратного искусства и военного управления, объясняется невозможностью преодолеть в краткий срок военные условия (австрийскую и русскую традиции) и осуществить свою идею в соответствии с требованием эпохи.

Анекдотическая, но характерная мелочь: у наших солдат на значках были чаши и львы; русские крестьяне принимали их за рюмочки и собачек, и я думаю, что это послужило причиной, почему эти знаки не стали всеобщими.

Мое первое выступление против Австрии в Швейцарии в день Гуса было органическим последствием нашей истории — столь же органическим и национальным, в лучшем смысле слова, было воскрешение гуситской и таборитской военной традиции.

Наш солдат скор на дело; скоро улавливает и скоро же ориентируется; зато тяжело переносит неуспех. Однако, он умеет выбираться из затруднительного положения. Я уже указывал, как в битве у Зборова наши солдаты показали не только личную храбрость, но и значительные тактический и распорядительский таланты.

Словак тоже хороший солдат; он, однако, еще больше привык слушаться, чем приказывать, управлять.

Я прекрасно знаю, что хорошее войско не обеспечивается исключительно личной храбростью и отвагой отдельных личностей; эта храбрость должна быть поддерживаема всеобщей дисциплиной; дело не только в бесстрашии под огнем, но и в терпеливости во время утомительной и обессиливающей фронтовой службы. Солдат жив не одной дисциплиной, но и хлебом — хорошее питание является в наше время главным условием успеха. Тот же солдат, тот же полк и даже целая армия могут быть сегодня храбрыми, а завтра поддаться панике. Войско требует правильной организации, администрации и постоянного руководства; храбрость отдельных лиц является лишь одним из слагаемых, обеспечивающих победу. Поэтому в демократическом войске так важен офицерский и унтер-офицерский вопрос.

54.

Новые затруднения нам подготовлял и скоро устроил большевицкий переворот 7-го ноября 1917 г.

Я наблюдал большевицкое движение в Петрограде и был свидетелем, как оно дошло до Москвы и Киева. Было это, действительно, удивительное стечение обстоятельств, ведь я каждый раз попадал в самую гущу большевицких боев. В Петрограде я жил на Морской, недалеко от дворца, а напротив

был телеграф и телефон; из-за этих зданий на улице, где я жил, велись бои. Отдел наш помещался сначала на Бассейной, а потом на Знаменской; на ежедневные совещания я ходил с Морской на Знаменскую, причем я должен был проходить через Литейный проспект, где в то время часто велись уличные бои. Я ходил на совещания неизменно каждый день; часто я ходил по улицам при стрельбе. Коллеги из Отдела неодобрительно на это посматривали; кажется, теперешний наш посол в Сербии, Шеба, обвинял меня в каком-то физиологическом недостатке чувства опасности. Было решено, что у меня будет охрана; так я получил для этой должности пленного Хузу. Под давлением Отдела, боявшегося, что со мной что-нибудь случится, я должен был переселиться в Москву. Отдел в скором времени должен был переехать за мной. Итак, я отправился в Москву, но утром, когда я приехал, начались бои между большевиками и войсками Керенского, и я неожиданно оказался в известной гостинице Метрополь, из которой юнкера Керенского сделали на скорую руку крепость; я прожил в ней шесть тяжелых дней под большевицкой осадой. Когда в последний день юнкера ночью незаметно ушли, а на другой день большевики взяли гостиницу-крепость (гостиница была, действительно, весьма солидно построена, с толстыми стенами), то я был избран парламентером со стороны иностранцев, от русских был выбран поляк, так как русские побаивались этой функции. Когда я потом выехал из Москвы в Киев, то попал во время взятия Киева большевиками во французскую гостиницу на Крещатике, которая была опасна уже своим местоположением (в гостиницу во время совещания влетел в соседнюю комнату тяжелый снаряд, но к счастью, не взорвался); опять, под давлением друзей, я должен был переселиться в санаторию, но опасность от этого не стала меньше, так как я ходил на собрания Отдела, а пули летели и в санаторию и даже в мою комнату. Однажды после обеда, мы с Хузою пробежали под настоящим дождем пуль... Еще и сейчас, когда после многих лет, наполненных разнообразнейшим опытом, я вспоминаю взятие главных городов России большевиками, то это мне кажется тяжелым сном.

Меня переворот интересовал, главным образом, с точки

зрения нашего войска и военных планов. Скоро стало ясно, что большевики, волей-неволей, должны будут заключить мир с немцами. И в этом они следовали примеру царя и иных своих предшественников. Удивительная игра судьбы: Милюков выступил из Временного Правительства перед Керенским, потому что Керенский хотел пересмотра программы в пацифистическом смысле, позднеее Керенский пытался воевать, а Милюков был готов вести переговоры с немцами.

Я еще больше укрепился во взгляде не путаться в русские внутренние дела, вытекавшие из революции, и переправляться во Францию, как мы сговорились с Францией.

Когда большевики под командованием Муравьева, придя на Украину, выступили против буржуазной рады и брали Киев, мы с ними заключили договор: они обеспечили нам вооруженный нейтралитет и отъезд из России во Францию. Благодаря признанию вооруженного нейтралитета, мы (Национальный Совет) были признаны регулярной и самостоятельной армией и правительством.

Большевики взяли Киев 8-го февраля: накануне я заявил, по договору с французской военной миссией, что наша армия является частью французской армии, для того, чтобы этим укрепить свою позицию.

Муравьев, лично, стремился сдержать свое слово; тем не менее, киевский Совет, как говорят, без ведома Муравьева, послал чешских агитаторов в наше войско, призывая его перейти в русскую армию. Это был один из затруднительнейших моментов, которые у нас бывали довольно часто. После основательного размышления, я решил, что пусть наши солдаты выслушают большевицких агентов. Так мы и поступили: результат был тот, что из наших в красную армию перешло около 218 человек; но из них на другой день уже некоторые вернулись, так как скоро могли убедиться в недостатках красной армии. В виде примера приведу, как один из наших «красных» уже на другой день хвастался, что у него полный карман часов. Такой аргумент открыл лучшей части глаза быстрее, чем это могло бы сделать мое запрещение выслушать большевицкую агитацию. Правда, некоторые русские и французские офицеры приняли

весьма скептически мое решение, но результаты говорили за меня, а не за военный бюрократизм.

Я не скрываю, что среди тех, кто перешел к большевикам, были приличные и даже очень хорошие люди. Некоторые из них, благодаря своему положению в большевицкой армии, оказывали нам большие услуги.

Поведение большевиков в Киеве и его окрестностях накладывали на нас тяжелую задачу — терпеливость; мы были особенно потрясены известием, что несмотря на договор, были убиты наши солдаты, охранявшие военные запасы недалеко от Киева. По своей грубости, большевики, наслаждаясь своей победой, не удовлетворились лишь убийством часовых, но загрязнили и надругались над трупами, с которых сняли платье и обувь. Трудно было тогда преодолеть естественное стремление к мести; но, взвесив все обстоятельства, я удовлетворился энергичным протестом и большевицким обещанием, что виновники будут наказаны и что в дальнейшем договоры будут честно исполняться.

Я видел много страшного и бесчеловечного во время большевицкой революции; но по какой-то особой ассоциации, при слове большевизм, перед глазами у меня встает одна картина. В течение некоторого времени после уличных боев в Петрограде и других городах, трупы павших жертв развозились по семьям на обыкновенных русских извозчиках. Окостеневшее тело клали, как бревно, поперек экипажа; с одной стороны торчали ноги, с другой — голова, иногда руки. Часто трупы ставили, и тогда их привязывали тряпкой или веревкой. Видел я и такие случаи, когда труп ставили вниз головой, а вверх торчали ноги. Это лишнее, бессмысленное, варварское уничтожение жизней поражает меня всегда при мысли об этих картинах.

Договор с Муравьевым подписали наши еще до взятия Киева; с Муравьевым я вел переговоры 10-го февраля 1918 г. в его салон-вагоне в присутствии союзнических представителей, которые выбрали меня в качестве парламентера (сами они по-русски не говорили). 16-го февраля я получил от Муравьева бумагу, обеспечивавшую нашим вооруженным войскам свободный и беспрепятственный проезд во Францию.

Об отношениях Муравьева ко мне по Киеву ходило много сплетен, распускаемых некоторыми реакционерами; большевицкий генералиссимус, по их словам, как-то уж слишком «очевидно» уступал мне и т. д. Мне, лично, он сам сказал, что уже давно знает меня по книгам и сообщениям, а потому стремится меня удовлетворить. Он был, как я слышал, жандармским офицером и большевиком по принуждению; позднее по приказу из Москвы он был расстрелян.

55.

Для меня в то время, как я уже говорил, большевизм был чисто военной проблемой, т. е. меня интересовало то, как большевики будут относиться к нашей армии; конечно, я следил за большевицким движением и с социологическим интересом. Я наблюдал рабочее и социалистическое движение давно по всей Европе и у нас дома, и так возникла моя критика марксизма. Отдавшись изучению России, я следил шаг за шагом с самого начала за Ленинским направлением; приехав во время войны в Петроград, я наблюдал за первыми ростками его революционной пропаганды. Под большевицким режимом я прожил почти полгода, видел его зарождение и следил за его развитием.

Здесь нет достаточно места, чтобы разбирать большевизм, а потому я скажу о нем лишь то, что необходимо для моего дальнейшего рассказа; мое отношение к большевизму многим людям не давало спать, вот еще причина, почему я хочу объяснить свою точку зрения.

Что касается принципов, то я не считаю коммунизм социальным и социологическим идеалом, если под коммунизмом подразумевается полное экономическое и социальное равенство. Нормальное политическое и социальное состояние общества невозможно осуществить без сильного индивидуализма, т. е. без свободной инициативы отдельных личностей, что на практике означает такой режим, который дает возможность развития разнообразнейших индивидуальностей, наделенных от природы неодинаково, как духовно, так и физически. Неоди-

наково положение каждого индивидуума в обществе, различна и его общественная среда; каждая личность наилучшим способом может использовать свои силы и среду по собственной инициативе; если судьбу человека разрешает иной, если иной его ведет, то является опасность, что силы ведомого не будут правильно и вполне использованы. Это видно во всем; в политическом отношении это видно на всех формах правления, где сильно развился централизм; коммунизм и есть именно централизм. Особенно большевицкий централизм очень крут; это режим абстрактный, вышедший при помощи дедукции из тезы и насильственно осуществляемый; большевизм это самодержавная диктатура одного и его помощников; большевизм непогрешим и смахивает на инквизицию, а потому у него нет ничего общего с наукой и философией; наука, как и демократия, без свободы невозможна.

Я считаю демократию, последовательно и справедливо осуществляемую, демократию не только политическую, но и экономическую и социальную, наиболее соответствующим и желательным состоянием общества, как нашего времени, так и еще в долгом будущем. Экономически и социально капиталистический режим несовершенен своей односторонностью; капитализм, правда, дает многим возможность — не всем! — личной инициативы, предприимчивости и творчества, но распределение выработанных ценностей, их пользование не зависит от производственных способностей, но от правил присваивания чужой работы и ее результатов. На практике, демократия означает терпимое неравенство, неравенство, как можно меньшее и уменьшающееся. Конечно, это легко сказать, но ведь осуществления могут быть самые разнообразные. Поэтому же и коммунистических систем может быть много.

Всему этому нас также учит русский эксперимент и его скорое развитие и значительные изменения.

В 1917 г. Ленин не хотел осуществлять принципы и идеалы коммунизма в России, для него было важно воспользоваться Россией, чтобы эти идеалы осуществить или, по крайней мере, ускорить в Европе. Об этом Ленин честно высказал свое мнение; он ошибся, благодаря тому, что представлял себе неправильно

состояние Европы, так же, как и России. Его философия истории была ошибочной. Уже Маркс и Энгельс ошибались в своих ожиданиях и пророчествах окончательной революции; Ленина и его приверженцев это не испугало, и они снова принялись ждать социальную революцию. Когда? Где?

То, что Маркс по Фейербаху говорит о религиозном антропоморфизме, действительно и в области социальной и политической: человек творит по своему образу и подобию не только рай небесный, но и земной — будущее. Русские не способны осуществить марксистский коммунизм; они, в целом, еще слишком не культурны и испорчены царизмом, чтобы понять и осуществить взгляды Маркса на коммунизм, как окончательную стадию длинного исторического процесса. То, что делали Ленин и его сторонники, не могло даже быть коммунизмом; быть может, это были коммунистические мелочи; его система была примитивным (земледельческим) капитализмом и примитивным социализмом под наблюдением примитивного государства, возникающего из анархических единиц, выпавших из царского, также примитивного, централизма. Русский примитивизм, вообще, — масса неграмотных крестьян, живущих в далеких деревнях, недостаток путей сообщения, упадок войска и бюрократии в виду проигранной войны, беспомощность политических партий и сословий — все это дало возможность энергичному самозванцу осуществить большевицкий переворот в больших городах, а с ним и владычество незначительного, но организованного меньшинства.

Ошибки и недостатки социального и политического антропоморфизма были видны на всем. Ответственные места, гражданские и военные, получали в большинстве молодые, неопытные и не получившие специального образования люди. Лучшие из них старались хоть кое-как выполнять свои задачи; искали и изобретали то, что уже давно было известно и существовало; многие же просто злоупотребляли своим положением и использовывали его ради личных целей. Тот, кто должен только еще учиться различать цифры и считать, не может пользоваться интегралами. Если Ленин сам так часто признавал, что делаются ошибки и что нужно учиться, то в этом видна чисто русская

честность, но в то же время и обвинение: ныне ни в одной области, ни в администрации, ни в политике не нужно наново и самостоятельно изобретать азбуку. Бесконечные импровизации в своей несистематичности составляли большевицкую систему. Большевицкая полуобразованность хуже, чем полная безграмотность. Большевицкая диктатура выросла из некритической, совершенно ненаучной непогрешимости; режим, который боится критики и разбора мыслящих людей, eo ipso уже невозможен.

Недостаток культурности, этот особый примитивизм, видны также в официальном приятии всех абсурдов так называемого современного искусства.

Также в администрации давал себя знать ложный марксистский взгляд на идеологию государства, его организацию, тем более, что на администрацию марксисты никогда не обращали достаточно внимания и не изучали ее, остановившись раз навсегда на анархизме (агосударственности) и выдвигая абсолютный перевес экономических условий (экономический или исторический материализм). Этот марксистский материализм подошел к русской пассивности: они ex thesi не должны были заботиться ни о чем, кроме хлеба. Но государство, литература, наука, философия, школа и воспитание, народное здравоохранение и нравственность, короче говоря, целая духовная культура не бывает дана экономическими условиями, но должна быть совместно с ними создана. Именно культура обеспечивает и делает возможным экономическое развитие — дает хлеб.

Русские, как и большевики, являются детьми царизма; в течение столетий он их воспитывал и вырабатывал. Они сумели устранить царя, но не устранили царизм. У них царская форма, хотя они носят ее наизнанку, ведь русский и сапоги умеет вывернуть наизнанку.

Большевики применяли свою многолетнюю, как они называли, «подпольную» тактику; они не были подготовлены к позитивной административной революции, их хватило только на революцию отрицательную. Она была отрицательна в том смысле, что при своей односторонности, узости и некультурности, они многое совсем излишне уничтожили. Я их особенно об-

виняю в том, что они, совсем по-царски, излишествовали в уничтожении жизней. Уровень варварства всюду проявляется в том, в какой степени люди умеют распоряжаться жизнью своей и своих ближних. Большевицкое уничтожение интеллигенции могло бы найти предостерегающий пример в римском Севере и вырезывании старых римских семей, особенно сенаторских; он добился этим варваризации государства и управления, но одновременно ускорил и падение империи. Но историк ясно найдет и более близкие примеры в самой России, в Иване Грозном или еще лучше в Стеньке Разине...

Большевизм соответствует гораздо более Бакунину, чем Марксу; что касается Маркса, то он следует за ним в его первой революционной эпохе — 1848 г. — в то время, когда его социализм не был еще вполне разработан. На Бакунина большевики могли бы ссылаться из-за своего бесспорного иезуитизма и маккиавелизма. К ним они дошли через заговорщицкую тайну, к которой привыкли, и стремлением к власти и диктатуре; добиться власти и удержать ее в своих руках стало главной целью. Тот, кто верит, что достиг высшей, окончательной ступени развития, что у него в руках непогрешимое знание всей общественной жизни, остановится в работе над прогрессом и усовершенствованием и будет занят одной и главной работой, как удержать свою власть и положение. Так это было во время реформации в католицизме, так возникла инквизиция и антиреформация, так это сейчас в России.

Большевики мало знали Россию. Царизм принуждал их жить заграницей, и они от России отвыкли; я не говорю, что они благодаря этому лучше узнали Запад, они и его не знали, живя в своих кружках. Они его узнали лишь в той мере, что начали им интересоваться и сделали его мерилом для России. Веря, что социальная революция будет также на Западе и еще раньше, чем в России, они посвятили себя пропаганде на Западе до такой степени, что внимание по отношению к русскому быту было вполне рассеяно. Кроме того на эту пропаганду они тратили сравнительно большие деньги. Одним словом, политика большевиков экстенсивна, а не интенсивна, экстенсивна внутри и наружи. Повторяю, — совершенный примитив.

Русский большевизм ни в коем случае не тождественен с коммунизмом; в лучшем случае это государственный социализм и капитализм. По бывшим до сих пор опытам, действительный длительный коммунизм возможен лишь на моральной и религиозной основе, среди друзей; но до общества, дружественно организованного на симпатии — нам всем далеко. Коммунистические опыты удаются в начале революции, во время минутного восторга, но позднее, когда восторг должен быть применен в обыденной жизни, они падают и вырождаются.

Режим Ленина был подготовлен Керенским и Временным Правительством; и Временное Правительство, и Керенский проявили неспособность к управлению и очистили неспособным и скверным людям значительное поле действия. Ленин продолжал в том же роде. Дорогу ему подготовило анархическое развитие интеллигенции, начиная с 1906 г.; тогда и несоциалистические партии не поняли, что после революции и достижения конституции, пусть и несовершенной, — политическое движение должно стать более положительным. Ленин был логическим последствием русской нелогичности. Запломбированные немецкие вагоны играли при этом весьма неважную роль. Ленин захватил Россию так, как ее раньше захватывали иные самозванцы — самозванство ведь обширная глава русской истории. Ленин использовал, как агитацию, военную усталость, развал армии и жажду земли, которую все социалистические и либеральные партии поддерживали со времени освобождения крестьян, — с 1861 г. Крестьяне забрали землю, а о коммунизме им и не снилось, а крестьяне — вот Россия. Неправильно обвинение, что Ленин и его опыт не русские; сама система советов есть не что иное, как расширение примитивных русских мира и артели.

То, что режим Ленина не создал коммунизма, и то, что у него были и есть большие недостатки и грехи, еще не означает, что это зло не принесло России и особенно массе русских мужиков ничего хорошего. Большевизм пробудил чувство свободы; особенно же возросло сознание собственной силы у крестьян, и все получили урок о силе организации; окрепло убеждение в необходимости работы и прилежания (сам Ленин

и многие вожди являются добрым примером); в городах и среди крестьян началось (Руссовское) опрощение. Эти и иные, относительно добрые, свойства большевизма может и должен отметить справедливый и серьезный наблюдатель русского развития. В противовес этому, большим — по моему мнению — самым большим минусом является моральная развращенность, упадок школьного образования и воспитания, моральная и культурная анархия вообще. Правда, почему Россия нуждалась в столь насильственном пробуждении от царского сна? Об этом каждый, кто любит Россию, будет думать; в первую очередь над этим должны бы были задуматься приверженцы царизма и церкви.

Повторяю, все, что я тут говорю, касается, прежде всего, первой эпохи большевизма; в следующие периоды, до сегодняшнего дня он развивается и особенно стремится осуществить коммунизм. Это делается за счет благосостояния. Что касается политики вмешательства и, вообще, всей политики по отношении к России, то я придерживаюсь постоянно точки зрения невмешательства: большевизм означает внутренний кризис России — его нельзя лечить вмешательством извне. Правда, большевики сами поддерживают эти стремления к вмешательству тем, что страстно стремятся к признанию de jure буржуазией!

Перехожу к следующему отделу.

56.

Большевизм имел то значение для нашего войска, что некоторая его часть — хотя и небольшая — более или менее последовательно начала склоняться к большевизму. Этот чешский большевизм в России связан с именем Муны. Я вел с Муной сам переговоры, когда вышел первый номер киевской «Свободы» (1-го ноября 1917 г.).

В Киеве было достаточное количество пленных рабочих, которые получали весьма приличный заработок на тамошних чешских и русских фабриках; некоторые из них отказывались

вступать в армию и не хотели даже платить на нее всеобщую дань; они прятались за удобный лозунг, что мы буржуи, что легионы служат буржуазии, капитализму и т. д. Они сами ему служили, Муна играл на два и больше фронтов. Какие у них были необоснованные доводы, можно судить по тому, что из трех или четырех товарищей, пришедших ко мне с Муной вести переговоры относительно «Свободы», двое тут же вступили в нашу армию, когда услышали, как мы опровергали несвязные доказательства Муны. Муна защищался лишь всякими хитрыми выдумками, утверждал, что нападает на легионы лишь из-за киевских рабочих и что делает это лишь внешне и что современем сам приведет в наш лагерь киевских «беглецов». В начале «Свобода» была против большевиков и резко обвиняла их во всевозможных ошибках; после переворота все изменилось, и Муна, и его газета стали большевицкими. Я уже говорил раньше, что большевики не привлекли на свою сторону много людей в армии.

Когда к Киеву подходил Муравьев со своей армией, то члены Национального Совета в Киеве постановили, как бы принести присягу в верности принципам нашего освободительного движения и мне лично (30 января). Это должно было послужить одновременно примером для всей нашей армии и всех наших людей в России. Конечно, нашлись слабые и нечестные люди, которые легко перескочили из самого черного черносотенства в самое красное. Некоторые играли на два фронта. Были также такие чешские предприниматели, которые в своем близоруком хищничестве не только спокойно сносили, но и поддерживали нападки на армию. И об этом мы не смеем забывать, если говорим о войске «политическом».

Вскоре после взятия Киева был образован совет рабочих и солдатских депутатов, по русскому образцу. Под влиянием большевиков в самом Национальном Совете тайно подготовлялся какой-то переворот; я об этом был своевременно осведомлен, но ждал спокойно. Я должен был ехать в Москву, чтобы там практически добиться того, что мы являемся действительно частью французской армии: было важно обеспечить нашу армию с финансовой стороны. Во время этого моего

отсутствия был создан какой-то новый Национальный Совет, который, однако, своим революционным руководителем все же избрал меня. Мне было неприятно, что эту штуку выкинули как раз социалисты, члены Национального Совета, которые мне в глаза всегда осуждали беснование наших чешских большевиков. Этот новый Национальный Совет был основан 24 февраля, но все предприятие не имело практического значения. Мешать и вредить может, конечно, даже самый глупый человек, так нам вредили своими партийными вмешательствами у русских большевиков и муновцы.

Тогда уже ожидались в Киеве немецкие и австрийские войска и когда, наконец, неприятель действительно начал приближаться, то киевская оппозиция спаслась тем, что вступила в «буржуазную» армию. 20-го февраля начался отход наших частей с Украины, а уже 2-го марта у наших был бой с немцами на Киевском мосту, а вскоре снова у Бахмача.

С того момента, как большевики пустились в переговоры о мире — формально это началось 3-го декабря 1917 г. приглашением к перемирию — всем стало ясно, что нашему войску нечего делать в России, а потому мы начали самым поспешным образом наш поход с Украины в Россию, направляясь во Владивосток, а оттуда во Францию.

3-го марта был подписан мир в Брест-Литовске.

57.

Одновременно с затруднениями с большевиками, начались и затруднения с украинцами. Наш корпус был расположен вокруг Киева на украинской территории. До тех пор, пока там господствовали русские, наше отношение к ним было вполне простым; Россия нам давала возможность организовать, вооружить и поддерживать корпус при помощи соответствующего снабжения. За это мы на территории, нами оккупированной, а главное в Киеве, охраняли военные запасы и поддерживали порядок.

Однако, вскоре после большевицкого переворота Украина

начала отделяться. 20-го ноября 1917 г. был объявлен третий Универсал, по которому Украина стала республикой и автономной частью русской Федерации. Таким образом, стало необходимо вести переговоры с украинским правительством; мы сговорились с ним на тех же условиях, которые у нас были с русскими (15-го января 1918 г.). Однако, особенно в первое время украинской независимости, отношения Украины и России, особенно же их войск, были не вполне ясны; этим также запутывалось и наше отношение к Украине. Но, в общем, у нас не было каких-либо больших неприятностей; некоторые затруднения возникли вследствие еще неустановившихся внутренних отношений и особенно из-за споров украинских партий.

Отделение Украины от России подготовлялось уже с января; 12-го января Украина была признана центральными державами. Я был хорошо осведомлен о том, что делалось, а в связи с этим и подготавливался. Я считал невозможным оставаться на Украине, совершенно оторванной от России, не только из-за обещаний, данных ранее России, но и принимая в соображение и наших граждан в большевицкой России и особенно наших пленных (я боялся, что их будут преследовать); без России же мы не могли попасть в Сибирь, а оттуда во Францию. А поэтому, когда 25-го января был объявлен IV Универсал, по которому Украина провозглашалась вполне самостоятельным государством, я сообщил уже 26-го января министру иностранных дел А. Я. Шульгину (А. Я. Шульгин, собственно, Шулхун по-украински, не смешивать с В. В. Шульгиным, русским, в Киеве), что IV Универсалом наш договор сам собой уничтожался и что мы в самом ближайшем времени выведем свое войско с Украины: войско было формировано с согласия России, России же наши солдаты присягали в верности, России мы преданы, однако против Украины и ее политики мы не будем, ни в коем случае, выступать; украинский вопрос будет разрешать также Россия, а мы принципиально не вмешиваемся во внутренние русские дела. Министру Шульгину я сказал, что при данном положении считаю отделение от России ошибкой, особенно потому, что взволнованная и неподготовлен-

ная Украина попадет под чрезвычайное немецкое и австрийское влияние. К этому мнению меня побудили довольно серьезные причины. Наконец, формальным доводом было то, что мы не могли остаться на территории государства, которое заключило мир с Германией и Австрией. Это также относилось и к нашим отношениям с большевиками. Украина заключила мир с Австрией и Германией 9-го февраля (в Брест-Литовске), на другой день после взятия Киева большевиками.

Не безынтересно отметить, что это непризнание IV Универсала весьма скоро облегчило нам переговоры с Муравьевым.

Еще коротко отмечу, что в Киеве наша работа над пропагандой не прекращалась и что мы пользовались каждым случаем для изложения своей программы перед русским и украинским обществом. Были у меня лекции и в Киеве: я там устроил большой митинг угнетенных народов (12-го декабря); перед этим (29-го августа) мы послали доктора Гирсу на московский съезд и т. д.

58.

Путешествие во Францию из Киева через Сибирь — вот фантастический план, говорил иногда я сам себе; но когда я взвесил все условия, то увидел, что это все же самый практичный, хотя и требующий длинного пути, план. Делались, однако, всевозможные планы; некоторые из наших и союзнических рядов предлагали, чтобы мы шли на Кавказ к казакам или же через Кавказ в Азию и там присоединились к английской армии... Франция для нас была руководящим началом, как мореплавателю на море компас...

Была еще одна возможность — мы могли воевать против австрийцев и немцев совместно с румынами и русскими на румынской территории. Мы это обсуждали довольно подробно в Петрограде с французской военной миссией и с петроградским румынским послом Диаманди еще тогда, когда корпус не был сформирован. С румынами мы были всегда в дружественных отношениях; наши люди помогали румынам в лагерях при наборе добровольцев в румынскую армию. В Париже тоже

хотели, чтобы мы отвели свою армию на румынский фронт. Я вел об этом переговоры с генералом Бертело, который был во главе французской военной миссии в Румынии; русскими частями там командовал генерал Щербачев. У меня были сведения об условиях жизни в Румынии, особенно подробно я знал судьбу пленных, привлеченных Штефаником в Румынии в прошлом году; судя по этому, я считал, что уже в 1916 г. у Румынии были затруднения с довольствием. Прежде, чем решиться, я хотел видеть собственными глазами условия жизни в Румынии и на румынском фронте, а потому в конце октября отправился в Яссы; эта часть Румынии не была занята неприятелем.

В Яссах я видел не только французскую миссию и русского командующего, но и румынских политических и военных вождей; у меня был разговор о положении с королем и с министром Братиано. Я хорошо знал Таке Ионеску, которого мне рекомендовали английские друзья; новыми для меня были министры Дука и Марцеску. Из офицеров я виделся с генералами Авереску, Григореску и иными; я съездил на фронт, чтобы ближе понаблюдать за состоянием войска, а главным образом, за состоянием снабжения. Во время небольшой перестрелки с немцами я видел солдат при исполнении своих обязанностей; у меня осталось хорошее впечатление. Я обратил особенное внимание на то, как победа у Марацести подняла дух и придала храбрости для дальнейшего наступления и терпеливой войны.

Я также посетил всех иностранных послов, особенно мне врезались в память встречи с сербским послом Маринковичем и военным атташе Гаджичем; значительными были разговоры с итальянским послом Фашиоти, с которым я разрабатывал подробный план организации наших легионов в Италии, продолжая, таким образом, переговоры, которые я вел по этому вопросу с итальянским послом в Петрограде. Еще припоминаю американского посла, нашего земляка Вопичку.

Из того, что я видел и слышал, я пришел к заключению, что наша армия не может итти на румынский фронт. Мне казалось, что продовольственный вопрос был уже достаточно

осложнен, и я сомневался чтобы Румыния могла легко перенести прирост в 50.000 человек; главным же образом, казалось, что Румыния не выдержит неприятельского натиска. Румынское войско и офицеры производили весьма приличное впечатление; настроение, как я говорил, было тоже хорошее; французские офицеры исполнили в румынской армии весьма честно свою задачу, но общее положение, казалось, вело к миру, а русское войско в Румынии, очевидно, не было уже надежным. Большевицкая Россия (сейчас это был лишь вопрос времени) заключит с Германией мир — выдержит ли Румыния бой с Германией? Что бы мы делали на румынской территории по заключении мира? Опыт скоро подтвердил мое решение. После переговоров России о мире, начались подобные же переговоры у румын. 9-го декабря 1917 г. начались переговоры о перемирии, 5-го марта 1918 г. был заключен временный мир, а 7-го мая окончательный. Интересно сравнить Румынию с Украиной и Россией — румынские переговоры тянулись полгода, с Украиной и Россией все шло гораздо скорее.

Тогда в Париже вследствие отдаленности не могли правильно оценить положение в Румынии и поэтому были недовольны моим решением. Однако, они должны были вскоре признать правильность моего определения.

Мое политическое пребывание в Яссах принесло добрые плоды. Личное знакомство и наша совместная работа с румынами в России были зародышем тройственного союза. Когда Румыния решилась вступить в войну, то мы послали (кроме меня, Бенеш и Штефаник) телеграмму Братиано, говоря, что Румыния одновременно воюет и за освобождение нашего народа; общие интересы свели нас и позднее, после войны. Так же было и с югославянами; правда, в то время между сербами и румынами не был достаточно выяснен вопрос о границах Баната. Мне представился случай говорить с обеими сторонами об этом вопросе, и я им посоветывал спокойно договориться.

В Яссах мы получили известие о Кабариду (Капоретто) — мое мнение о румынской политике было этим лишь подтверждено.

Правило, которым мы руководствовались в России (так же на Украине и вообще по отношению ко всем новым политическим образованиям в России) было — не вмешиваться во внутренние дела России, избегать всячески втягивания в споры и борьбу партий. В виду того, что у нас был договор о вооруженном нейтралитете, у нас, следовательно, в случае нужды было оружие для самозащиты; будучи частью французской армии, мы естественно применили бы оружие для защиты французов и всех остальных союзников, если бы на них было совершено нападение.

С самого начала мы заявляли, что нашими врагами являются Австрия и Германия. Против них мы хотели выступить и в России. Мы приняли участие в этой борьбе и с честью провели ее у Зборова. Когда, однако, Россия не могла далее воевать, когда большевицкая Россия, а также Украина начали переговоры о мире с Австрией и Германией, когда мы увидели, что мир будет заключен, то мы не могли воевать со своими врагами в России; потому все наши усилия были теперь направлены на то, чтобы попасть во Францию — там наша армия могла найти применение. В начале ноября мы отправили первый отряд войска во Францию (под командой Гусака). В феврале 1918 года в Италию выехали члены Отдела — Шеба и Халупа, чтобы организовать там легионы по русскому образцу.

При этом стремлении попасть во Францию мной руководила второстепенная, но вовсе не незначительная причина. Россия не была соединена с Западом: из России все сообщения на запад шли с затруднениями и не полностью, а кроме того — эта связь была под наблюдением немцев и австрийцев. А они замалчивали или искажали все, что бы мы ни делали. Во Франции наши друзья и враги лучше могли бы наблюдать нашу армию.

Против нашего отхода из России были настроены политики и военные царской и предбольшевицкой России. Меня убеждали Корнилов, Алексеев, Милюков и другие, чтобы я присоединился к ним и выступил против большевиков. Также больше-

вики и украинцы были против нашего отхода постольку, поскольку и те и другие стремились привлечь нашу армию на свою сторону. Особенно Муравьев, как я уже говорил, обращался со мной ласково и предупредительно.

Я отверг все эти планы. Я был твердо убежден, что русские руководители и политики неверно оценивают общее положение России и у меня не было доверия к их руководству и организационным способностям. Мгновенные предприятия Корнилова, Алексеева и других могли лишь больше утвердить меня в этом. Эти все господа забывали, что мы с ними, вернее с их преемником генералом Духониным, заключили договор, по которому наша армия должна была выступать лишь против внешнего неприятеля, и этот договор был заключен уже при большевицком правительстве.

Дальнейшей причиной было то, что наш корпус еще не был готов и что у нас не было достаточно оружия и аммуниции; у нас особенно не хватало тяжелой артиллерии, без которой дальнейшие и правильные бои были прямо невозможны. У нас не было аэропланов и, вообще, вооружение было слабо. Это было важно потому, что мы должны были ожидать сражений с немцами и австрийцами, которые непременно выступили бы против нас. Мы могли разбить Муравьева и его армию, идущую против Киева, но нас бы не хватило на борьбу с большевиками в Москве и Петрограде; а тут мы должны были рисковать, что большевиков от нас будут защищать немцы и австрийцы! О невозможности правильного транспорта на испорченных и окруженных неприятелем дорогах — я не говорю.

Неуспех польских легионов против большевиков уже в 1917 году и их позднейшее разоружение (Пилсудский, Мусницкий, Галлер) должно было быть устрашающим примером борьбы с немцами и австрийцами; кроме того, и в наших боях у Киева и Бахмача, мы убедились, что мы слабы по сравнению с немцами.

Нас бы не поняло и русское население — а это было чрезвычайно важно, — которое почти все было настроено против войны и которое приняло бы нас за чужих и непрошенных гостей и сделало бы невозможным снабжение армии. К нам бы

сейчас же присоединились черносотенцы, и значительная часть народа имела бы против нас веский аргумент; наконец, у русского народа в то время, кроме лозунга «мир», была единственная цель и программа — «земля», а ее то мы бы не могли ему дать.

Условия в России ясно определяли правило, гласившее, чтобы мы не вмешивались. Эти условия жизни осложнились во время революции тем, что не только отдельные народы, но и области и города становились до известной степени самостоятельными. Нам уже нужно было вести переговоры не только с центральной Россией и ее правительством, но и с Украиной и иными новообразованиями, с которыми нам приходилось вступать в сношения (например, с казаками).

С 50.000 войском нельзя оккупировать и держать в своих руках огромное пространство Европейской России; мы должны были бы занять не только Киев, но целый ряд городов и сел по дороге к Москве и всюду оставлять гарнизоны — на это нас абсолютно не могло хватить. В России — еще не в Сибири — большевики начинали организовывать армию; далее на восток и в Сибири не было столько солдат, а потому мы этим путем могли легче всего добраться до Франции.

Что касается союзников, то, к сожалению, должно быть признано, что у них не было определенного плана по отношению к России, а также не было единообразного отношения к большевикам. В первое время, вскоре после переворота союзники были не прочь признать большевиков или по крайней мере вести с ними переговоры. Я знал, что французский посол Нуланс вел переговоры с Троцким (в декабре 1917 г.); американский посол вскоре после этого (в январе 1918 г.) обещал большевикам помощь и формальное признание, в случае, если они выступят против немцев. Генерал Табуи в Киеве присоединился ко мне в переговорах с большевиками. Скоро, однако, союзники выступили против большевиков; то, что союзники поддерживали движение против большевиков, я считал за ошибку, особенно, когда поддержку получали бесспорные авантюристы, вроде Семенова и ему подобных. На действительную борьбу с большевиками у союзников не было

сил, а местные выступления были бесцельны. Лишь осенью 1918 г. пришла мысль послать против большевиков шесть дивизий из салоникской армии; но ни Клемансо, ни Ллойд-Джорж не согласились с планом, опасаясь, что солдаты ослушаются и не пойдут.

Наше положение по отношению к союзникам было тяжелое. Мы были войском автономным и в то же время частью французской армии; от Франции и от союзников мы зависели и материально. Было решено, что мы получаем заем, который вернет наше государство, но на практике мы в данный момент от них зависели. Но несмотря на все это я настоял на своем — мы двинулись в поход во Францию.

Более подробное описание наших отношений к союзникам в России я оставляю д-ру Бенешу в его будущей работе. Ясно лишь одно, что у нас была армия и что в России мы были единственной значительной военной и политической организацией и что это придавало нам вес, соображения о нашей армии играли в переговорах о нашем признании значительную роль.

Союзники не были все одинакового мнения о том, что должна делать наша армия; Париж был за наш переезд во Францию, Лондон охотнее видел бы нас в России или в Сибири. Быть может в этом случае уже играли роль большевицкие попытки агитации в Индии.

Эта глава могла бы быть много длиннее, но я скажу еще лишь несколько слов. Если говорить об интервенции и неинтервенции в России (я сам пользуюсь этим терминами), то необходимо различать вмешательство в русские дела при большевицком правительстве (интервенция) и войну с большевиками. То, что союзники не должны были вмешиваться во внутренние дела России, разумеется само собою вследствие международных обычаев; обратно, и большевики не должны были путаться в дела союзнических государств. Однако, большевицкое учение о пролетарском интернационале и его задачах было в этом случае важным препятствием. Во всяком случае уже тогда борьба с большевиками была борьбой с официальной Россией: если война с Россией — с большевицкой Россией, так как иной не было — была действительно нужна, то было

необходимо объявить ее официально и привести причины. Этого, однако, не случилось. Без обиняков признаюсь, что я не одобрял этого недостатка политических формальностей по отношению к большевикам; что касается убеждений, то я был во многом гораздо большим противником большевизма, чем некоторые господа в Париже и в Лондоне. Я размышлял о войне против большевиков и России; я бы присоединился с нашим корпусом к армии, которая была бы способна вести войну с большевиками и немцами и которая защищала бы демократию против большевизма. Для борьбы с большевиками была одна возможность: мобилизация японцев. Но на это не соглашались не только Америка, но и Париж и Лондон. Это стало ясным, когда летом 1918 г. наши легионы попали в конфликт с большевиками, но об этом будет далее.

Кроме того партийные соотношения в нашей армии, при нашей отрезанности должны были склонить нас к нейтралитету. Особенно неуспех и поражения могли разбить единство армии да и воевали бы мы, вообще говоря, за слишком отрицательную программу. Бой с большевиками казался мне отрицательным еще потому, что русские отрицатели большевизма были между собой несогласны, не представляли себе ясно судеб России и не были способны к организации.

В конце концов, большевики были тоже русскими, для меня Ленин был не менее русским, чем Николай; несмотря на его монгольское происхождение, в нем было больше русской крови, чем у царя.

Здесь же хочу на всякий случай упомянуть о киевском инциденте. Во время борьбы с местными большевиками русский командующий вывел во время моего отсутствия (29-го октября) часть II полка против большевиков: это было сделано мошеннически при помощи полковника Мамонтова, который обратился к солдатам будто бы с моим приказом. Макса сейчас же ликвидировал легкомысленный инцидент. При этом происшествии появился на сцену и депутат Дюрих с несколькими безумцами. Я упоминаю об этом факте потому, что им часто пользуются против нас как русские, так и наши большевики.

В интересах исторической правды я должен здесь констатировать, что большевики уже после заключения перемирия (6—15 декабря 1917 г.) и во время переговоров в Брест-Литовске думали о реорганизации русской армии для борьбы с Германией. Троцкий в начале войны написал резкую брошюру против немцев и австрийцев; в феврале 1918 года он внес предложение в центральный комитет в Петрограде, чтобы добиваться помощи Франции и Англии для реорганизации армии. Ленин этот план одобрил. Я это слышал на месте от достоверных свидетелей; о подробностях ничего не могу сказать. Известно, что и Садуль в феврале 1918 года сообщал в Париж о желании большевиков получить от союзников помощь для реорганизации войска. Известно, что договор в Брест-Литовске был принят большевиками лишь под сильным давлением Ленина. Троцкого при голосовании не было.

Дальше, я могу привести факт, что в марте, уже после заключения мира, Троцкий вел переговоры с некоторыми представителями союзнических государств, дабы ему помогли привлечь генерала Бертело, возвращавшегося из Румынии со своей военной миссией. Посол Нуланс, бывший тогда в Вологде, очень противился этому плану (об этом факте я узнал уже после своего отъезда из России; не могу сказать, как ко всему этому относился Ленин).

О переговорах Троцкого с Нулансом и об обещании американского посла я уже говорил. В связи с этим может быть сказано, что у Бахмача большевики сражались вместе с нами против немцев; это были, однако, большевики украинские, и их незначительное участие проистекало не из обдуманного антинемецкого плана, но из случайного стечения обстоятельств.

Я знал хорошо антинемецкое настроение советов и следил за ним; о течении дел у меня были достоверные сведения. Само собою разумеется, что я тоже считался с этим настроением большевиков и по этой причине не гнал их в объятия немцев нашими войсками. И еще: в этом настроении большевиков я черпал надежду, что они не будут чинить препятствий нашим солдатам на пути по России и Сибири.

Я знаю, что большевиков обвиняют в одностороннем гер-

манофильстве потому, что они подписали мир с Германией. Я не согласен с этим взглядом. Для большевиков не было выхода; что у них было, что они могли делать? Все переговоры в Брест-Литовске, способ, каким немцы принуждали к миру, особенно, так называемый, дополнительный договор, доказывают, что большевики не хотели заключать мир. Заключением мира с немцами они следовали за своими предшественниками царского и послецарского режима. Я уже упоминал, что и Милюков был готов подписать мир, а Терещенко вел о нем переговоры с Австрией, несмотря на то, что принципиально был за продолжение войны. Об этом скажу позднее. Большевики, и в этом их можно по праву обвинять, совершенно бессмысленно ускорили и усилили разложение армии (но ведь и это началось при царе и сознательно продолжалось при Временном Правительстве и Керенском) и воспользовались пацифизмом, как агитацией, хотя должны были сами очень скоро реорганизовать армию; допустимо, что среди них были односторонние германофилы, но главные ошибки большевиков заключаются не в их иностранной, а внутренней политике. Что касается германофильства, то и в нем они были детьми царизма.

Незнание союзническими державами России, а благодаря этому и большевизма, было до известной степени причиной неправильного отношения к России сначала царской, а потом и революционной. Как некритически и невежественно судили о большевиках, указывают опубликованные антибольшевицкие документы. Не знаю, сколько за них дали американцы, англичане и французы, но для сведущего человека из содержания сразу было видно, что наши друзья купили подделку (это скоро стало очевидно; документы, которые должны были присылаться из разных государств, были все написаны на одинаковой пишущей машине). Правда, и большевики не были лучше в подобных вопросах. Сейчас же после переворота они начали публиковать тайный архив министерства иностранных дел; объявили это, точно какое-то великое событие, в действительности же на свет Божий из документов не появилось ничего, что бы не было уже известно. Борьба Троцкого с тайной царской дипломатией была тоже довольно наивна.

Я действовал по отношению к России во всех фазах ее развития, соображаясь с знанием условий быта и с нашей национальной программой; мне было неприятно, что многие из союзников меня сразу не поняли. Общие последствия и успех доказывают мою правоту. Что касается большевизма, то в Париже и Лондоне не знали положения русских дел, и как из него необходимо должен был развиться большевизм. Однако, многие французы и англичане, бывшие в России и наблюдавшие быт, приобрели более правильные воззрения. Я это особенно часто тогда слышал о члене французской военной миссии Легра и английском торговом атташе в Москве, мистере Локарте; я их лично не знал в России, но то, что я слышал, подтверждало мой взгляд на официальную точку зрения на большевиков в Париже и Лондоне. Я привожу лишь эти два имени среди официальных лиц; то, что здесь говорится о них, может быть подтверждено примером ряда иных официальных и неофициальных наблюдателей России из Франции и Англии.

Что же, наконец, касается отношения немцев к большевикам, то неверно утверждение, будто немцы с начала и при всех условиях поддерживали большевиков. Правда, что они воспользовались большевицким переворотом и еще даже их агитацией к борьбе с царским и временным правительством, правда и то, что это была близорукая тактика. Но все немецкие государственные деятели и руководящие лица в армии не были согласны в воззрениях на большевиков; партии буржуазные, монархические, а также и социал-демократы не были за большевиков. В свою очередь и большевики в начале своего режима не могли итти с монархическими немцами и не шли с ними ни политически, ни военно. Немцы большевикам не доверяли и, до известной степени, их боялись; это было видно из переговоров в Брест-Литовске и об этом можно еще судить по тому факту, что весной 1918 г. немцы в России держали значительную часть войска, которое могли бы употребить с большей пользой во Франции. Чтобы определить настоящее отношение немцев к большевикам, я старался всевозможными способами установить точное количество германского и австрийского войска в России; в Ставке некоторые русские офицеры гово-

рили мне, что оно достигает миллиона; по моим сведениям оно должно было быть не более полу миллиона; и этого достаточно, чтобы возбудить вопрос, почему немцы удерживали такой сильный русский фронт. Это не была армия лишь против большевиков; немцы тогда еще считались с возможностью, что большевики не удержатся и что новые правители России, особенно монархисты, наверняка воскресят русскую армию. Я об этом судил еще по тому, что генерал Гофман грозил большевикам походом на Петроград и объявлением монархии. Кстати о Петрограде: можно было ожидать, что немцы действительно пойдут на Петроград; то, что этого не случилось, является доказательством, что немцы не были уверены и что они не хотели испортить отношений с возможной новой Россией.

Подробнейшее исследование отношений большевиков к немцам потребовало бы более старательного разбора, чем нам здесь нужно. Большевики теоретики — это я еще хочу дополнить — воспитались и учились в большинстве случаев в Германии и в Австрии, а потому были, до известной степени, немецки ориентированы; но в политике, как раз немцы и немецкие марксисты были их злейшими врагами. Близость к независимым (Либкнехтовцам) не решала дело в обратную сторону, скорее наоборот. Большевики не могли не понимать смысла немецкого наступления на Финляндию и на Украину и берлинской политики с окраинными государствами.

Когда я рассматриваю развитие событий в целом после поражения царской армии, то мне кажется, что русская революция 1917 г. была для нас и для нашего освобождения скорее плюсом, чем минусом. При этом я думаю не только о наших легионах в России, но и о том влиянии, которое имела русская революция у нас на родине, на Австрию и на Европу вообще. И большевицкая революция нам не повредила.

60.

Я приехал в Россию с надеждою, что смогу вернуться на Запад через несколько недель, однако, обстоятельства задержали меня в России почти на год. В России мы должны были

преодолевать самые тяжелые препятствия, препятствия царского и послецарского режима. Но главное требование заграничной программы, которое я поддерживал и выдвигал с самого начала нашего движения, было осуществлено: у нас была армия, и при этом армия самостоятельная. Я говорю самостоятельная, потому что именно это было важно и об этом мы спорили с царской Россией. Для меня было важно не только то, чтобы мы имели аримю, но то, чтобы армией распоряжались мы, чтобы Национальный Совет политически и военно был начальником армии.

Потом было важно вывезти армию из России во Францию. При данных обстоятельствах сибирский путь был самый верный; в Архангельске зимой море замерзало, а Мурман и дорога к нему были не безопасны; идущие из обеих пристаней транспорты, а особенно транспорты регулярные и длительные, находились бы в опасности вследствие немецких подводных лодок; сухим путем ехать мы не могли, этому мешали австрийцы и немцы, которые оккупировали западную часть России. Оставалась лишь Сибирь еще и потому, что, по получаемым сообщениям, железные дороги там действовали все же лучше, чем в России; всякие сумасбродные планы (Кавказ, Азия) нельзя было принимать в серьез.

Переговоры в Брест-Литовске и общее положение на фронте весной 1918 г. предвещали конец войны и мир. Чтобы вывезти армию во Францию, я должен был обязательно ехать в Европу, как я сказал солдатам, в качестве их «квартирмейстера».

22-го февраля я выехал из Киева в Москву, чтобы закончить там последние приготовления. Я узнал, что уезжают французская и английская миссии и решил воспользоваться этим случаем; английский красный крест, отъезжающий во Владивосток (леди Пэйжет и консул Баиге) охотно предоставили мне место в одном из своих вагонов.

В Москве мы действовали в том смысле, чтобы надлежащим образом объяснить большевикам наше положение и смысл нашего договора: были опасения, что вследствие незнания вещей могут возникнуть недоразумения. Клеланда неоднократ-

но разговаривал с Фриче, большевицким комиссаром в Москве (историком литературы).

Невмешательство не означало несопротивления в случае, если бы на наше войско было совершенно нападение. Об этом в Отделении Национального Совета не было сомнений. Самозащита и защита союзников, на которых было совершено нападение, были естественным требованием самостоятельной армии.

В этом смысле и велись переговоры с большевиками. Мы были обеспечены вооруженным нейтралитетом. Это не противоречило тому, чтобы большевикам была выдана часть оружия, которое они хотели получить, как русское имущество. У нас было заключено соглашение, что наше войско без задержек будет отправлено во Францию и само собой разумелось, что во Франции и во французской армии оно должно будет быть вооружено по-французски. Требование вернуть часть оружия показывало также каково военное положение большевиков.

В Москве я должен был договориться с французами о финансовом вопросе: как мы будем получать деньги. Было важно, чтобы у нас для армии было своевременно достаточное количество денег, так как мы должны были оплачивать все, что нам было необходимо. За этим следили очень строго. Первые деньги я получил еще в Киеве от англичан, так как французская миссия не была еще готова к платежам; я получил 80.000 фунтов, позднее я слышал что с разменом были огромные затруднения. В Москве с французской миссией, в которой был генерал Рампон, все вопросы как финансовые, так и продовольственные были разрешены скоро и в положительном смысле. Финансовые дела армии вел легионер Шип.

6-го марта я простился в особом обращении с чешскими соотечественниками, 7-го марта с войском. Мне было не легко оставлять войско и Отделение Национального Совета в России, но я знал, что ехать на Запад необходимо. В чешском лагере добились соглашения, хотя некоторые руководящие особы и не были вполне удовлетворены; но в виду наставшего положения я не ожидал, чтобы они могли вредить. Армия была вполне едина и бодра духом. Я ожидал, конечно, много различных затруднений на ее долгом пути, но я был убеж-

E 10 570

ден, что войско, не вмешиваясь в русскую жизнь, без вреда прибудет на корабли. Одной из главных причин, почему я торопился на Запад, было еще стремление приготовить пароходы для отъезда во Францию.

Перед отъездом из Москвы, уже в поезде, я дал секретарю Клеланде полномочие для политических переговоров. С Клеландой я работал довольно долго, и он был посвящен во все подробности нашей заграничной деятельности. Мы рассмотрели всевозможные затруднения, которые я только мог предвидеть. Мы должны были ожидать затруднений с транспортом, так как дороги были уже в плохом состоянии; благодаря этому опять могли возникнуть затруднения с продовольствием и квартированием. Я ожидал затруднений от местных советов. Я видел на примере Москвы, как большевицкий режим еще не был централизован и как Россия день ото дня распадалась на более или менее автономные части. Здесь нам грозили всяческие неприятности. Могли для нас возникнуть затруднения и вследствие борьбы русских партий между собой. Как раз когда я уезжал, ожидалось если не восстание, то по крайней мере энергичное вмешательство партии социалистов-революционеров в московскую большевицкую администрацию. Я не ожидал от предприятия никакого успеха; Клеланда в случае, если бы в Москве дошло до антибольшевицкого восстания, должен был точно держаться директивы: в русские дела не вмешиваться.

Я упомянул о социалистах-революционерах: в Москве тогда был Савинков; об этом мне сообщил один знакомый, который и спросил, не хочу ли я поговорить с Савинковым. В своей книге о России я посвятил философским романам Савинкова целый отдел и мне было интересно поговорить с автором «Коня бледного». Я был разочарован: политически — он неправильно судил о положении России и не дооценивал силы большевиков; философски и морально — не дошел к пониманию значительной разницы между революцией и личными террористическими актами. Он не понимал разницы между войной и революцией наступательной и оборонительной, морально не поднялся над примитивизмом кровавой мести. Позднейшее развитие Савин-

кова — он служил даже Колчаку — показало его слабость — слабость террористического титана, ставшего Гамлетом.

Большевики заключили с немцами и австрийцами мир, в котором было поставлено условие, что большевики не разрешают в России никакой агитации против немецкого правительства, государства и войска — благодаря этому немцы могли требовать от большевиков всевозможных неприятных мер по отношению к нам. Наконец, мы могли ожидать затруднений для нашей армии от того, что у союзников о России и по отношении к России не было единообразного плана; собственно не было вообще никакого плана.

Обо всех этих и иных возможностях мы сговорились с Клецандой в Москве до мельчайших подробностей. В случае, если бы на нас в России или Сибири напала какая-либо из партий (большевики), то в моих письменных инструкциях стояло: энергичное сопротивление! Мы условились с Клецандой также о различных наших людях, как и кем воспользоваться в армии и в Отделении Национального Совета. К великому прискорбию, мы так неожиданно потеряли Клецанду. 28-го апреля он умер в Омске.

61.

В 8 часов вечера, 7-го марта я выехал из Москвы, через Саратов, Самару, Сибирским путем. Я приехал 1-го апреля во Владивосток. Я ехал в санитарном вагоне III класса; в Москве купили какой-то матрац, на котором я на лавке и спал ночью. Вагон был наполнен англичанами, ехавшими в Европу. Путешествие заполнялось наблюдением Сибири, чтением, дописыванием моей книжки «Новая Европа» и в значительной степени заботами о хлебе насущном; нужно было питаться в течение долгого пути, покупать все нужное в городах, где мы останавливались. Но путешествие по Сибири было лучше, чем по Европейской России. Были долгие остановки на станциях и помимо станций, вагоны, локомотивы и пути не были в порядке. Так, например, мы долго стояли на станции Амазар: нас заранее предупредили, что перед нами было столкно-

вение поездов и что путь испорчен. В Иркутске мы стояли целый день, так что мы могли осмотреть город и сделать нужные покупки. Я всюду собирал современную литературу и, вообще, печатанные произведения, а также и более старые вещи, поскольку их можно было достать. Само собою разумеется, что мы всюду покупали местные газеты и летучки. Кроме того, я получал от Клецанды, как мы сговорились, на некоторых станциях шифрованные и обыкновенные телеграммы. Английскую миссию сопровождал из Киева большевицкий патруль из четырех солдат. Я имел возможность вести каждый день разговоры и споры с их начальником и разобрать весь социальный вопрос, а также и социализм — странные это были социалисты, еще более странными были они коммунистами.

Во Владивостоке у меня был целый день; я посетил и чешское общество «Палацкий» и был там среди соотечественников. Главным же образом, я был на почте и на телеграфе Различные бумаги были посланы в Европу с отъезжающими; телеграммы шли, главным образом, в Париж, Лондон и Америку. Во Владивостоке я получил от союзников некоторые сообщения, которыми я и дополнил то, что прочел в сибирских газетах и то, что получил сам по телеграфу.

Для меня было самым важным относительно войска то, что бои с немцами у Бахмача были ликвидированы и что после перехода наших частей из Украины в Россию, в Курске (16-го марта) была впервые добровольно отдана часть оружия. 20-го марта были закончены переговоры с большевиками о беспрепятственном проезде в Сибирь и во Владивосток. Это было уже раз сделано, сейчас же после прихода большевицкого войска на Украину, с Муравьевым, но из осторожности мы снова начали эти же переговоры в Москве с московским советом, дабы договор был исполнен и как бы ратифицирован. Комиссар Сталин телеграфировал 26-го марта из Москвы местным советам, что чехословаки не едут, как боевые единицы, но как частные граждане, известное количество имеющегося у них оружия им нужно для обороны против контр-революционеров: «совет народных комиссаров желает им помочь всеми силами на русской территории».

По дороге я читал сообщения о войне на Западе. Я читал о новом немецком наступлении и, конечно, неуспехи французского и особенно английского оружия в большевицких газетах были тогда надлежащим образом использованы и преувеличены. Я бы мог рассказать много интересных подробностей и наблюдений из моего сибирского путешествия, наблюдений, касающихся не только России, но и моих английских спутников, но я пишу не записки о путешествии, а политическую работу.

IV

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

(Токио. 6—20 апреля 1918 года)

62.

Из Владивостока я хотел ехать прямо пароходом в Америку, но вследствие разнообразных препятствий я должен был воспользоваться Манджурской железной дорогой и проехать всю Корею до моря к Фусану и оттуда пароходом в Японию. Я выехал 1-го апреля через Харбин и Мукден. 6-го апреля я приехал в Шимоносеки, 8-го апреля я был в Токио и тем самым снова в Европе, так как можно было сейчас же завязать сношения с европейскими посольствами.

Америку представлял мистер Роланд Слетор Моррис, Англию — сер Конингем Грин. Мистер Моррис просил меня составить меморандум для президента Вильсона о состоянии России и большевизма и сам мне задал с этой целью некоторые вопросы; я ответил кратким объяснением о необходимости продуманной политики европейских государств в России. Я привожу здесь текст краткого меморандума, который после моего описания русских дел не требует дальнейшего разъяснения, за исключением указания времени и положения вещей, когда я, таким образом, формулировал свои взгляды.

Личное. Тайно.

Написано 10-го апреля 1918 года.

Токио.

1. Союзники должны были бы признать советскую власть (de facto; о признании de jure нет нужды и говорить); послание президента Вильсона на их Московский Съезд было шагом в этом направлении: если союзники будут с большевиками в хороших отношениях, то смогут иметь на них влияние. Немцы их признали, заключив с ними мир (знаю слабые стороны большевиков, но, одновременно, знаю и слабые стороны остальных партий — они не лучше и не способнее).

2. Монархическое движение слабо; союзники не смеют его поддерживать. Кадеты и социалисты-революционеры организуются против большевиков; я не ожидаю от этих партий значительного успеха. Союзники ожидали, что у Алексеева и Корнилова будет на Дону большой успех; я этому не верил и отказался с ними соединиться, хотя меня звали сами вожди. То же самое могу сказать о Семенове и иных.

3. Большевики удержат власть дольше, чем предполагали их противники: они умрут, как и все остальные партии, от политического дилетантизма — проклятие царизма в том, что он не научил народ работать, управлять; большевиков ослабил их неуспех в мирных переговорах, но, с другой стороны, они приобретают симпатии тем, что учатся работать и потому, что остальные партии слабы.

4. Полагаю, что коалиционное правительство (социалистических партий и левых кадетов) могло бы за некоторое время добиться всеобщего согласия (большевики должны были бы тоже быть в правительстве).

5. Постоянное демократическое и республиканское правительство в России будет производить сильное давление на Пруссию и Австрию (посредством социалистов и демократов); вот причина, почему немцы и австрийцы настроены против большевиков.

6. Все малые народы на Востоке (финны, поляки, эстонцы, латыши, литовцы, чехи со словаками, румыны и т. д.) нуждаются в сильной России, иначе они будут вполне в руках немцев и австрийцев: союзники должны Россию поддерживать во чтобы то ни стало и всевозможными средствами. Если немцы покорят Восток, то позднее покорят и Запад.

7. Способное правительство могло бы принудить украинцев, чтобы они удовлетворились автономной республикой, составляющей часть России; это и был первоначальный план самих украинцев, только позднее они объявили свою независимость, но независимая Украина будет, в действительности, немецкой или австрийской провинцией; немцы и австрийцы преследуют в Украине ту же политику, что и с Польшей.

8. Необходимо помнить, что юг России является богатой частью страны (плодородная почва, Донецкий бассейн, Черное море и т. д.), север же беден: русская политика будет направлена к югу.

9. У союзников должен быть общий план о России, как ее поддерживать.

10. Союзнические правительства не должны оставлять своих чиновников в России без директив; иными словами, отдельные правительства должны иметь ясный план о России.

11. Японцы, надеюсь, не будут против России; это благоприятствовало бы немцам и австрийцам; наоборот, японцы должны были бы воевать вместе с союзниками, разрыв между японцами и немцами увеличился бы.

12. Нигде в Сибири (от 15 марта до 2 апреля) я не видел вооруженных немецких или австрийских военнопленных; в Сибири анархия не больше, чем в России.

13. Союзники должны бороться в России с немцами и австрийцами:

a) Пусть образуется общество, скупающее хлеб (пшеницу и т. д.) и продающее его там, где это нужно: таким образом, немцы не смогут получить этот хлеб. Но русские (украинские и иные) крестьяне не будут продавать хлеб за деньги, потому что они с ними ничего не могут сделать, им нужны товары (сапоги, одежда, мыло, железо, инструменты и т. д.).

Так как у австрийцев и немцев нет товаров, то союзникам предоставляется удобный случай овладеть русским рынком.

План требует лишь энергии и организации: капитал, помещенный в эту торговлю, будет возвращен.

b) Немецкие и австрийские агенты бросятся в Россию; необходимо организовать противодействие (американские и остальные агенты должны привезти образцы, быть может, небольшую передвижную выставку избранных товаров, иллюстрированные каталоги и т. д.).

c) Немцы влияют на русскую печать не только через своих особых газетных агентов, но и через своих военнопленных, которые пишут в различнейшие газеты по всей стране (не только в больших городах).

Наши чешские пленные до известной степени работают против этого, но это все должно быть организовано.

d) Необходимо поддерживать железные дороги; без железных дорог не будет армии, не будет промышленности и т. д.

e) Немцы скупили русские бумаги, дабы в будущем овладеть русской промышленностью.

g) Известно, что немцы оказывают свое влияние на военнопленных, обрабатывая, например, украинских пленных для украинской армии; союзники могли бы оказывать влияние на немецких пленных, поскольку они остаются в России (печатью, особыми агитаторами и т. д.).

i) Мне удалось организовать в России из чешских и словацких пленных корпус в 50.000; я условился с французским правительством, что теперь переправим их во Францию. Союзники могут помочь транспортом этой армии: это прекрасные солдаты, как это они показали при возобновленном наступлении в июне прошлого года.

Мы можем организовать и другой корпус такого же размера: это должно быть сделано для того, чтобы наши пленные не возвращались в Австрию, где бы их послали против союзников на итальянский или французский фронт.

Союзники согласились дать нам необходимые средства. Во Франции у нас есть тоже небольшая армия, посланная частью из России, частью сформированная из беженцев; надеюсь, что создадим армию и в Италии.

Значение целой чешской армии во Франции ясно: должен признать, что Франция с самого начала поняла политическое значение дела и поддерживала наше народное движение всеми средствами. Министр Бриан был первым государственным деятелем, который обещал публично поддержку Французской республики нашему народу. Ему же удалось прибавить в ответе Вильсона ясное требование, чтобы Чехословаки были освобождены (Чехословаки являются самым западным славянским барьером против Германии и Австрии).

При современном положении 100.000 и даже 50.000 обученных солдат имеют большое значение.

14. Мой ответ на часто повторяемый вопрос, может ли в России сформироваться армия: через 6 или 9 месяцев может быть сформирован, скажем, миллион солдат.

Красная армия не имеет никакого значения, и большевики уже обратились к офицерам (бывшей царской армии), чтобы они вступили в их армию, как инструкторы (для армии нужны железные дороги).

Делаю примечание: в сегодняшнем «Advertiser» (11 апреля) имеется следующее сообщение: добровольцы сдают оружие. Чехословацкий корпус, идущий во Францию, остановлен Троцким. Москва 5-го апреля. — Как следствие соглашения между Троцким и французским послом, армия чехословацких добровольцев, идущих во Францию, передала свое оружие советским учреждениям. — Офицеры были распущены, за исключением генерала Дитерикса, сопровождающего корпус во Францию.

Сообщение весьма благоприятное: армия, идущая во Францию не должна иметь оружия, потому что будет наново вооружена во Франции; офицеры, о которых идет речь, русские, вступившие в нашу армию.

Эти взгляды я высказал (устно) также и французскому послу Реньо.

В английском посольстве я узнал, что делается в Европе.

Я пошел также к японскому министру иностранных дел. Японцам, понятно, в то время мы были мало известны. Я подал секретарю тогдашнего временного министерства Шидехари меморандум (писанный по-русски) и просил, главным образом, английского, а также и американского послов, чтобы они

замолвили о нас слово перед японским правительством. Нам нужна была помощь японцев для отъезда наших частей из Владивостока, быть может, через Японию. Кроме того, Япония нам была нужна для обеспечения нас одеждой и обувью и всем тем, чего мы не могли получить в России и в Сибири. Со всеми я также говорил о том, как достать пароходы.

Так же, как и всюду, я завязал и в Японии сношения с журналистами. Несколько дней у меня были затруднения с Токийской полицией; их смущал мой английский паспорт; газеты писали обо мне под моей настоящей фамилией, а паспорт был на иное имя. Я не удивлялся, что полиция в Токио лишь через несколько дней устранила это неустранимое недоразумение; в Лондоне со мной случилось то же самое. Там у меня, правда, был паспорт на мое имя, но сербский, и полиция тоже не могла додуматься, насколько и как это соответствует действительности. Я уже читал лекции в Лондонском университете, премьер-министр Асквит уже ввел меня при помощи своего представителя, но полиция моего округа была еще несколько дней в сомнении. Святой Бюрократиус везде одинаков — впрочем, в порядке вещей, когда чиновники исполняют свои обязанности.

В Японии я прочел известную речь Чернина от 2-го апреля. Меня не удивило личное нападение Чернина; важным было то, что французский министр Пэнлеве, а потом, главным образом, Клемансо, в ответ на австрийскую ложь о мирных предложениях Австрии, подали свое решительное заявление и что письмо принца Сикста Бурбонского от 31-го марта 1917 года было опубликовано. Австрия лгала, сам император держался скверно и трусливо, и все дело кончилось отставкой Чернина 15-го апреля. Для нас, как буду еще говорить, этот эпизод имел важное значение, благодаря тому, что союзникам таким очевидным способом была доказана фальшь и ненадежность Австрии.

В Токио я также получил кое-какие сведения о съезде в Риме угнетенных народов Австро-Венгрии (8-го апреля); но об этом, как и о важном соглашении на Корфу (20 июля

1917 г.), буду говорить подробнее в общем рассуждении об отношениях к югославянам.

Двухнедельное пребывание в Японии особенно не обогатило моих познаний о Японии. Все мое внимание обращено было к судьбе легионов, к войне и ожидаемому миру. Я посещал в Токио храмы различных вероисповеданий, осмотрел много из того, что было доступно, однако, я не могу сказать, что я Японию изучал. Меня интересовало экономическое положение Японии и о нем я осведомлялся; я хотел знать, как война отражается на энергичной Японии. Тот факт, что Англии, а в известной мере, и Франции война препятствовала в обычном вывозе товаров на Дальний Восток, дал Японии естественную возможность расширить свою торговлю в Азии и даже, например, до Египта. Я с интересом рассматривал книжные и художественные магазины. Мне удалось купить несколько хороших японских гравюр на дереве и несколько европейских книг. Влияние немецкой литературы, особенно медицинской, было сразу заметно в магазинах; я нашел книжника-антиквара, который торговал исключительно немецкими книгами.

19-го апреля я переехал в Иокогаму. По счастливой случайности, в Канаду отплывал большой пароход «Empress of Asia».

Пароход был предназначен для перевозки войска из Америки в Европу. Так я очень скоро добрался до американского материка; я отплыл 20-го апреля 1918 года, а 29-го апреля я уже был в Виктории и Ванкувере.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

I

Завет Коменского

Прага: август—декабрь 1914

1. Попытка весной 1914 помирить сербов и болгар. Подобная же попытка, бывшая в 1912 по отношению Сербии и Австрии. По объявлении войны в Германии. Положение в Праге. С лидерами политических партий: Швегла, Калина, д-р Странский, д-р Гайн, д-р Соукуп, д-р Шмерал, Клофач, Хоц 7
2. Мои первые сношения с союзниками из Праги. Послание в Лондон в конце августа и установление постоянных сношений. (Эм. Воска). Первые сообщения из Лондона о военных планах союзников. Поездка в Германию и Голландию в сентябре и октябре. Установление сношений с Францией, Англией и Россией. Мой первый меморандум союзникам в октябре 11
3. Критическое положение на фронте. Будет ли война продолжаться долго и кто выиграет? Марна—Ипр. Сербия побеждает. Россия побеждает на австрийском, но пройгрывает на германском фронте 16
4. Надежды, возлагаемые на русских и оккупацию ими чешских земель. Переговоры с д-ром Шейнером. Мои сомнения 19
5. Против некритического руссофильства, приводящего к пассивности. Военные манифесты и славянская программа официальной России. Спор православной России, стремящейся к Царьграду, с католической Австрией, как пангерманским авангардом, из-за Балканских православных народов и католических поляков 22
6. Решение в пользу активного движения заграницей; плюсы и минусы обеих воюющих сторон: возможность победы союзников и благодаря этому антиавстрийской программы. Размышления по поводу экономических и финансовых основ нашего будущего государства. Его границы, особенно в Словакии 28
7. План коридора между нами и югославянами. Начало совместной деятельности с югославянами (д-р Лоркович, д-р Крамер в Праге) 31

8. Последние разговоры с официальной Австрией (с Туном и Кербером) и немецкими политиками. Австрия не способна к реформам 31
9. Доктор Бенеш 34
10. Роковое решение вести борьбу с Австрией и Германией. Мое довоенное отношение к Австро-Венгрии, как предмет спора с радикалами. Мировая война, как попытка единой организации мира под руководством Запада против националистического империализма Германии и Австрии, стремящегося к покорению старого мира. Пангерманский Берлин—Багдад. Наша первая задача заграницей: организовать из пленных армию. Мы уже созрели для борьбы, для удержания и управления независимым чехословацким государством? Подробный план антиавстрийского движения 37

II

Roma aeterna

Рим: декабрь 1914 — январь 1915 г.

11. Первые сношения с официальными представителями Антанты. Сербский посол Л. Михайлович, Местрович, д-р Л. Войнович, Попович; д-р Трумбич, д-р Гинкович («Хорватский комитет» и «Адриатический легион»). Вопрос о Далмации. Сущность итальянских стремлений. Моя точка врения на югославянский вопрос 43
12. Сношения с остальными славянами, в особенности русскими: Сватковский 49
13. Сношения с остальными союзниками. Италия и тройственный союз: Италия не выступит против Антанты 51
14. Ватикан и война. Граф Пальфи о католической миссии Австрии. Ватикан и католики воюющих стран вообще. Католическая пропаганда. Из Рима в Женеву 53

III

На родине Руссо

Женева: январь — сентябрь 1915.

15. Удобства Швейцарии для заграничной деятельности. Организация нашей швейцарской колонии. Связь с Прагой. Д-р Сихрава, инжен. Барачек и др. Первые попытки организации всех колоний. Живые сношения с Парижем. Э. Дени. Единение в общих чертах установлено летом 1915 г. Наши заграничные газеты. Приезд депутата Дюриха 56
16. Симпатии Швейцарии. Совместная работа с югославянами. Споры о Болгарии. Связь с Россией (Сватковский). Чешский черносотенец из России 62
17. Первое посещение Парижа и Лондона. Меморандум для министра Грея. У Бенкендорфа. Снова совещания с Дени. С сербским послом Весничем 65

18. Италия объявила Австрии войну. Югославяне волнуются по поводу лондонского договора (26 апреля 1915). Положение на фронте летом 1915 и вопрос, затянется война или нет. Боязнь перед войной с неопределенным концом. Война становится окопной. Поездка в Лион и Милан 66
19. Публичное выступление против Австрии в Гусов день. Почему сравнительно так поздно? Финансовые причины 69
20. Борьба с Австрией оправдана и с гуманитарной точки зрения. Жижка или Коменский? Толстовский пацифизм. Ромэн Роллан. Пацифизм против милитаризма. Чех против чеха? Необходима чешская армия. Она может быть сформирована лишь в России. Особые курьеры в Россию и другие страны. 70
21. Кто виноват: Австрия и Германия главные виновники. Австрия более виновата, чем полагают. 75
22. Австрия нас преследует в Швейцарии при помощи Швейцарии же. Попытка отравления? Швейцария, как пример государства со смешанными национальностями. Международность не мешает национальности. Швейцарская литература и демократия 79

IV

На Западе

Париж и Лондон: сентябрь 1915 — май 1917

23. Перенесение центра движения в Лондон и Париж. Приезд д-ра Бенеша заграницу 83
24. Профессор Дени 85
25. Наши колонии в Америке и России. Единая организация всех колоний и ликвидация споров в России. Дело Дюриха 86
26. Национальный Совет, его возникновение и признание всеми колониями. 91
27. Общий характер нашей заграничной пропаганды. Культурная и политическая пропаганда. Антипропаганда. Финансирование освободительного движения 93
28. В Англии. Я стал профессором лондонского университета. Вступительная лекция (19 октября). Проблема малых народов в европейском кризисе. Председателем лекции министр Асквит; первый значительный политический успех. Реальный успех рассуждений о малых народах 99
29. Положение на фронте (лето и осень 1915 г.) и меморандум о военных силах воюющих сторон (в конце ноября). Манифест, направленный против Австрии 14 ноября 1915 г. 101
30. Посещение Парижа в конце января 1916 г.; аудиенция у Бриана (3 февраля) и ее крупное политическое значение. Бриан обещает официальную помощь нашей антиавстрийской программе. Однако австрийский предрассудок всюду глубоко пустил корни! Старые и новые знакомства в Париже 105
31. С Весничем. С Извольским. Рост недоверия к России на Западе. Поэтому лекция в Сорбонне (22 февраля) о славянах и панславизме 106
32. Штефаник. Его задача (1916): добиться в России права форми-

ровать армию и перевезти ее во Францию. Та же задача в Италии 110
33. Возвращение в Лондон (26 февраля 1916 г.) и пропаганда в Англии до мая 1917 г. Мои три лондонские друга: мистер Стид, мадам Рош, мистер Сетон-Ватсон; распространение нашей национальной программы между союзниками 114
34. Лондон и Париж. Франция и Англия и их культура. Пополнение знаний в области французской и английской литературы. Проблема французской революции и реставрации. Проблема французского (романского) декаданса: романтизм и чрезмерная сексуальность. Натурализм Золя, как романтизм. О. Конт и Ж. де-Мэстр. Объяснение явления католицизма. Новые литературные направления и их активизм 116
35. Английская литература и философия: Давид Юм, философ современного скептицизма. Дарвин, Милль, Спенсер. Английская «pruderie». В Англии нет того романтического сексуализма, как во Франции; он однако есть у католических ирландцев. Протестантизм и католичество. Большое количество английских писательниц. Положение женщины во время войны. Я пополняю знания английской литературы. Об английской гуманности и культуре вообще. 121
36. Сношения с правительствами, политиками и журналистами всех стран. Эванс, Брайс, Морлей, Гайндман, Виноградов, Сароле а, и иные. Встречи с противниками. Ирландцы и суфражистки. Посещение общественных собраний: Вебб и Шоу. Честертон. «Джон Буль». Наша пропаганда определяет историю чешско-английских отношений. Дело гр. Занарди-Ланди. По цёрквам 125
37. Сношения с Россией и русскими (Бенкендорф — «Аргус» — Дионео, Кропоткин — Милюков и миссия русских думцев — Амфитеатров). Гонцы от чехов из России. Дмовский 129
38. Югославяне; Югославянский комитет. Супило, Гинкович, Вошняк, Поточняк и Местрович. Сербский посол. Иованович, перед ним Антонович, Савич, Попович, отец Велимирович. Королевич и Пашич в Лондоне (апрель 1916). Споры об отношении к Италии и Курии (лондонский договор). Возможность наших легионов также в Италии. Сербско-чешские собрания. Черногорский комитет в Париже. Сетон-Ватсон и Стид за югославян. Мои встречи с Супило 130
39. Чешская колония в Лондоне. Смерть Ваянского. Снова отравления? 132
40. Изучение войны в кинематографах. Фронт в 1916 и в начале 1917 года. Кровавый Верден. Увеличение английской армии, ее влияние на фронте с начала 1916 г. Отступление от Дарданелл. Поражения в Месопотамии. Победа у Ютланда. Итальянцы в Горице. Русские одно время побеждают под командованием Брусилова, но славянские войска — русские и сербские — выходят из игры. Румыния начинает войну, но скоро она поражена. Гинденбург и Людендорф во главе немецкой армии. Изменения во французском командовании. Неуспех французов (Нивелль) и англичан весной 1917 г., не прорвали немецкого фронта. Ген. Сарайль на Балканах. Русская революция и выступление Америки против Германии (6 апреля 1917) 133
41. 1917 г. характеризуется повторяемыми предложениями мира. Немцы и австрийцы предлагают мир 12-го декабря 1916 г. Пре-

зидент Вильсон 21-го декабря 1916 г. активно вмешивается в европейские дела вопросом об условиях мира. Ответ союзников Вильсону от 12 января 1917 г. Этот ответ является нашим блестящим успехом: чехословаки должны быть освобождены от иноземного владычества так же, как поляки, итальянцы, «славяне» и румыны. Немцы сообщают свои условия (29 января) Вильсону. Предложения мира императором Карлом в Париже и Лондоне. Социалистическое движение в пользу мира после падения царизма. Временное русское правительство. Русские рабочие и армия — социал-демократия в Германии и в Австро-Венгрии 139

42. Ответ союзников Вильсону и его опровержение нашими депутатами 142

V

Панславизм и наша революционная армия

Петроград — Москва — Киев — Владивосток: май 1917 — апрель 1918 г.

43. Программная телетрамма Милюкову после русской революции. Отъезд в Россию через Норвегию и Швецию. Приезд в Петроград во время отставки Милюкова. Организация пропаганды в Петрограде. Сношения с правительством (князь Львов, Терещенко) и союзническими представителями: А. Тома, генерал Ниссель и полковник Лаверн; сэр В. Бьюкенен, маркиз Карлотти, Спалайкович, Диаманди. Американская миссия мистера Рота. Эм. Воска, Гендерсон и Вандервельде. Русские политики и лидеры партий: Милюков, Струве, Плеханов, Горький, Сорокин, проф. Васильев (Керенский)..... 146

44. Царский Содом и Гоморра: деморализация двора и значительной части русского народа. Распутинщина. Неблагодарность Запада или Запад был предан Россией? Неудачная война и революция, как подтверждение русской литературы. 152

45. Царская Россия идет воевать без общеславянского плана и без плана освобождения нашего народа. Царские неопределенные обещания. Сазонов. Лишь английская и французская поддержка нашего освободительного движения осенью 1916 г. обратила внимание Петрограда на значение чехословацкого вопроса. Тайные договоры России открывают истинный предмет давнишних русских стремлений: завоевать Царьград и проливы. Генерал Алексеев и его славянофильство. «Славянская» политика по отношению к полякам и украинцам 159

46. Тайный лондонский договор с Италией: Супило в Петрограде..... 164

47. Возникновение дружины и ее развитие в бригаду (1914—16). Русские военные учреждения вначале хотели лишь отделы пропаганды на случай оккупации Австрии. Разведки. Недостаток политического и военного понимания в нашей колонии (Союз) и споры (Ч. С. Единение) опасны для военной деятельности..... 166

48. Попытка расширить бригаду до армии. Два проекта наших соотечественников в 1915 году и 1916 — не приняты. Царское согласие 27 июня 1916 г. освободить славянских пленных осталось без последствий. Возникновение правительственного национального совета (Дюрих) 170

49. Лишь после революции Временное правительство, благодаря Милюкову, одобряет «правила организации чехословацкого войска» (25/III 1917). Дюриховский национальный совет уничтожен... 175
50. Доводы русских военных и гражданских учреждений против формирования нашей армии. Царский абсолютизм был против нас своей программой. Поправки, сделанные русской революцией — но либералы и социалисты настроены против нас из-за мнимого шовинизма. Почему дела сербских легионов шли лучше? Наши и пленные в сербской дивизии. Постановление русского царского правительства не организовывать чешской армии. Вена радуется нашим неудачам 176
51. Организация отделения центрального национального Совета и упрощение его деятельности. Секретарь отделения: Юрий Клеканда. Ярослав Папоушек 183
52. Наша армия должна была быть большой и предназначалась для Франции. Первый корпус наконец утвержден (9-го октября). Генерал Духонин. Русские офицеры в нашей армии 185
53. Затруднения организации демократического войска в хаотической среде. Чех и словак, как солдаты 189
54. Большевицкий переворот (7 ноября 1917). Как вела себя Антанта. Договор с большевицким генералиссимусом Муравьевым в Киеве относительно вооруженного нейтралитета и свободного проезда во Францию (февраль 1918 г.). Корпус объявлен частью армии во Франции..... 195
55. Большевизм и коммунизм с принципиальной точки зрения.... 199
56. Большевизм в нашей армии (Муна) 205
57. Наши отношения к украинцам. III Универсал (20/X 1917). IV Универсал (25/I 1918) 207
58. Переговоры относительно присоединения нашей армии к румынам и русским на румынском фронте. Пребывание в Яссах в конце октября (1917). У короля; Братиану и Таке Ионеску. Министры: Дука, Марцеску. Генералы Авереску, Григореску, Бертело и Щербачев. С депутатами: Маринкович, Фашиотти. Вопичка. Капоретто! 209
59. Принцип невмешательства в русские дела и доводы за отъезд войска во Францию. Военная и политическая неспособность русских противников большевизма. Переговоры с Корниловым, Алексеевым, Милюковым и иными. Политическая и военная борьба с большевиками была невозможна. Киевский инцидент. Троцкий и Ленин еще в феврале 1918 г. во время переговоров о мире, стоят за помощь Антанты для реорганизации армии. Троцкий эту помощь ищет еще после мира. Большевики на нашей стороне в боях против немцев у Бахмача. Обвинение большевиков в июле, что они заключили мир с немцами. Отношение большевиков к немцам и его значение для нашего освобождения.. 212
60. Необходимость переправить армию через Сибирь. Положение на фронте весной 1918 г. предвещало скорые переговоры о мире. Необходимо мое возвращение на Запад. Последние переговоры с большевиками в Москве. Финансовое обеспечение армии. Ожидание столкновения нашей армии с большевиками. Юрий Клеканда уполномочен вести политические переговоры. Отъезд из Москвы 7 марта (1918) 220
61. Через Сибирь во Владивосток (7/III—I/IV). Последние переговоры с большевиками 224

VI

На Дальнем Востоке

Токио: 6—20 апреля 1918

62. Из Владивостока через Корею в Японию. В Токио. Европа в Токио. Встречи с союзническими послами (сэр Конингэм Грин и мистер Морис) и с японским министерством иностранных дел. Меморандум о России и большевизме президенту Вильсону. Известие о личном нападении Чернина и о его падении из-за дела Сикста. Римский съезд угнетенных народов Австро-Венгрии (8 апреля). Из Токио в Соединенные Штаты (19—29 апреля). 227

Изд. „ПЛАМЯ“

I. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

	$
Алексеев Н. Н. Основы философии права	0.90
Булгаков Вал. Толстой — моралист	0.17
Введенский А., проф. Философские очерки	0.90
Лапшин И. И., проф. Философия изобретения и изобретение в философии:	
вып. I.	0.75
вып. II.	1.50
„*Логос*“. Международный ежегодник по философии культура. Кн. первая	2.40
Лопатин Л. М.: Лекции по ист. нов. философии	0.30
Лосский Н. О., проф. Сборник задач по логике	0.60
Спекторский Е. В. Христианство и Культура	1.80
Ученые записки. Т. I. вып. I. Философские знания	0.75

II. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

	$
Бланк Р.: Иуда Искариот в свете истории	0.15
Виппили П. М. Очерки теории исторической науки	1.80
Вернадский Г. В., проф. Очерк истории права Русского Государства	0.45
Головин Н., ген. Из истории кампании 1914 г. (прилож. 14 карт)	3.60
Дени Э., проф. Возрождение Чехии	0.75
Лаппо И. И., проф. Западная Россия и ее соединение с Польшею	0.60
Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины 17—18 вв., т. I, вып. I	1.50
т. I, вып. II	1.65
т. I, вып. III	1.35
Мельгунов С. П. Дела и люди Александровского времени	1.50
Мельгунов С. П. Первые уроки истории. — Древний Восток	0.90
Нидерле Любор, проф. Быт и культура древних славян	1.50
Нольде Б. Э. Петербургская миссия Бисмарка 1859—1862 гг.	1.65
Платонов С. Ф., акад. Борис Годунов	0.60
Платонов С. Ф., акад. Смутное время	0.60
Платонов С. Ф., акад. Учебник Русской истории, ч. I	0.90
ч. II	0.75
Ученые записки. Т. I, вып. II Исторические и филологические знания	1.05
Шмурло Е. Ф., проф. Введение в русскую историю	0.90

III. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И БЕЛЛЕТРИСТИКА

	$
Аверченко А., Шутка Мецената. Юмористический роман	0.75
Аверченко А. Рассказы циника	0.93
Бальмонт К. Д. Где мой дом? Очерки	0.36
Бальмонт К. Д. Мое — Ей. (Стихи)	0.40
Гиппиус Зинаида. Живые лица. Вып. I	0.60
Гиппиус Зинаида. Живые лица. Вып. II	0.60
Гончаров И. А. Обрыв, тт. I и II	1.68
Дюгамель: Цивилизация и др. рассказы	0.30
„*Никодим Павлович Кондаков*“: Сборник статей	0.25
Ляцкий Е. А., проф.: Роман и жизнь. (Биография И. А. Гончарова по нов. дан.)	2.55

	$
Мякотин В. А.: А. С. Пушкин и декабристы	0.18
Ремизов А. М.: Зга. Рассказы	0.93
Розенберг В. А.: Из истории русской печати	0.75
Русская зарубежная книга. Вып. I-й. Ч. I и II	0.90
Толстой Л. Л., гр.: В Ясной Поляне	0.17
Тэффи Н.: Вечерний день. Рассказы	0.45
Францев В. А.: Державин у славян	0.90
Форслунд К. Э.: Зунвунг и Зингилла. Романы из жизни животных	0.36
Цветаева Марина. Молодец (Сказка)	0.54
Чапек К.: R. U. K.	0.60
Шмелев И. С.: Неупиваемая чаша и др. рассказы	0.60
Вестфаль Ларисса: В чужой стороне... (стихи)	0.30
Гаршин В.: Надежда Николаевна	0.24
Гоголь Н. В.: Страшная месть	0.12
Достоевский Ф. Неточка Незванова	0.30
Каррик В. Сказки-картинки — шесть книжек по	0.08
Каррик В. Сказки-картинки — в одном томике	0.24
Короленко В.: Письма к Луначарскому	0.06
Мельникова-Папоушкова Н. Ф.: Антология русской поэзии XX в., ч. I	0.27
То же, ч. II. Новая поэзия	0.36
Мережковский Д. С. Тайна трех	1.20
Мережковский Д. С. Рождение богов. Тутанкамон на Крите. Роман	0.75
Пушкин А. Капитанская дочка	0.30
Пушкин А. Дубровский	0.24
Пушкин А: Борис Годунов	0.17
Пушкин А. Пиковая дама	0.09
„Русские народные сказки“: Том. I, с многочисленн. рисунками	0.17
„Русские народные сказки“: Том II, с многочисленн. рисунками	0.18
Салтыков-Щедрин М. Сказки I	0.09
Салтыков-Щедрин М. Сказки II	0.09
Сказка о Жар-Птице (Издание с ударениями)	0.05
Соколов Б. Мятеж или искание	0.54
Тургенев И. Рудин	0.19
Тургенев И. Бирюк. Пожар на море	0.07
Чехов А. Вишневый сад	0.18

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПОЛИТИКА

Водовозов В. В. Новая Европа	3.30
Гертнер Ф. О. О деньгах и обесценении денег	0.55
Головин Н. Н., ген. Тихоокеанская проблема в XX столетии	1.05
Дионео: Англия после войны	0.75
Косинский В. А. Основные тенденции в мобилизации земельной собственности	3.30
Масарик Т. Г. О большевизме	0.18
Мельгунов С. П. Красный террор в России, изд. 2-ое	0.90
Право Советской России. Сборник статей. Вып. I	2.25
Вып. II	2.10
Радль Э., проф. Т. Масарик, его жизнь, общественная и научная деятельность	0.27
Томомианц В., проф. Кооперация в России	0.55
Ученые записки. Т. I, вып. III. Общественные знания	1.35
Циммерман М. А. Очерки нового международного права	1.50

V. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ТЕХНИКА И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ

	$
Вальден П. И., О хим. элементах	0.90
Головин Н., ген. Танки в минувшую войну и будущую	0.60
Классен Ф. Г. Технология рыбных продуктов	2.40
Лепешкин В. В., проф.: Организм с точки зрения физики и химии, № 1	0.30
Маракуев С. В. Нач. основания математ. анализа	1.05
Новиков М. М., проф. *и Шкаф Б. А.*, прив.-доц. Невидимые друзья и враги животного организма, № 2	0.30
Одинцов В. Н. Орг. вещ. почвы и их влияние на плодородие почвы, № 3—4	0.60
Стратонов В. В., проф. По небесному океану	0.30
Стратонов В. В., проф. Дневное светило	0.36
Стратонов В. В., проф. Земной шар	0.36
Стратонов В. В., проф. Движения земли	0.45
Ученые записки. Том II, вып. I. Математические знания	3.30
Эрисман, проф. Мыслят ли животные?	0.15

VI. СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ, УЧЕБНИКИ

	$
Буттер О. и *Доразил В.* Чехословацкая Республика (распродано)	
Всеславянский календарь „Пламя“ на 1926 г.	0.50
Карцевский С. И. Русский язык. Грамматика. Ч. I.	0.42
Морковина В. В. Чешско-русский словарь	1.35
Морковин Б. В. Первая книга для чтения „Наша Речь“ (изд. с ударениями)	0.18
Русский букварь по Вахтерову: Изд. 2-ое, с ударениями	0.18
Фан-дер-Флит А. П., проф. Арифметика приближенных чисел	0.20

VII. ИСКУССТВО

	$
„Артисты Московского Художественного Театра за рубежом“	1.20
Зноско-Боровский Е. В. Русский театр начала XX в.	1.95
Кизеветтер А. А., М. О. Щепкин	0.60
Кундера. Чешская музыка	0.03
Маковский С. К. „Силуэты русских художников“	1.20
„Народное искусство Подкарпатской Руси“. Текст С. К. Маковского. Художественное издание со множеством многоцветных и автотип. иллюстр. на бумаге „Шамоа“. Русское издание	20.00
Чешское издание	20.00
Английское издание	20.00
Французское издание	20.00

VIII. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

	$
„Вестник Крест. России“. 4—5	0.24
„Военный Сборник“. Кн. VI	0.90
„Воля России“. Кн. VII—VIII	0.60
„Записки Наблюдателя“. Кн. I	1.—
„Записки Института Изучения России № 2	1.20
„Записки Института с.-х. кооперации в Праге“. Кн. III	1.—
„Искусство Славян“. Кн. IV	0.45
„Кавказский Горец“. Кн. II—III	0.60
„Казачья Лава“. Кн. IV	0.10
„Казачий Сполох“. Кн. 6—7	0.15
„Кооперация и Сельское Хозяйство“. Кн. II	0.75
„Местное Самоуправление“. Кн. II	1.05
„На Чужой Стороне“. Кн. XI	1.20
„Революционная Россия“. Кн. 44.	0.18
„Русская Зарубежная Книга“. В. I ч. I и II по	0.45
„Русская Школа за рубежом“. Кн. 13—14	0.60
„Русский Экономический Сборник“. Кн. III	1.—
„Своими Путями“. Кн. 6—7	0.25
„Современные Записки“. Кн. XXV	0.90
„Студенческие Годы“. Кн. 4	0.15
„Книжный указатель“ № № 1, 2, 3, 4, 5 и 6-7 по	0.06
„Черные пелеринки“ № 2	0.20

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЛАМЯ“

Новые книги

Ф. Степун

Из писем прапорщика-артиллериста

ЦЕНА **30 Кч.**

Проф. П. Вальден

О химических элементах

№ 5-6-7 Серии

„Естествознание и Техника“

ЦЕНА **30 Кч.**

Е. А. Ляцкий

ТУНДРА

Роман из беженской жизни

I-Я ЧАСТЬ **20 Кч.** II-Я ЧАСТЬ **20 Кч.**

Цалыккаты Ахмед

Брат на брата

Роман из революционной жизни Кавказа

ЦЕНА **30 Кч.**

PRAHA II JEČNÁ 32

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЛАМЯ“

На чужой стороне

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СБОРНИКИ

под редакцией **В. А. Мякотина**
при ближайшем участии **Е. А. Ляцкого** и **С. П. Мельгунова**

Поступили в продажу: книги I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

ПО ЦЕНЕ 40 ч. кр.

ЛОГОС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕЖЕГОДНИК ПО ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ

под редакцией
С. И. Гессена, Ф. А. Степуна и Б. В. Яковенко

Поступила в продажу книга I — 1925 г.

ЦЕНА 80 ч. кр.

Экономический кабинет проф. С. Н. ПРОКОПОВИЧА при культурно-просветительном отделе „Земгора“

Русский Экономический Сборник

под редакцией **С. Н. Прокоповича**

Поступили в продажу книги I, II — по ЦЕНЕ 30 ч. кр. III — 35 ч. кр.

PRAHA II JEČNÁ 32

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ЕЖЕГОДНИК

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

„ПЛАМЯ“ на 1926 год.

Составили: И. Ежек, Ф. Мансветов, В. Озерецковский, И. Яковлев.

ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ:

Н. Алексеева. — З. Апкинази. А. Бобровскаго. — П. Бутенко. — Н. Вакар. — Проф. В. Водовозова. — М. Гехтера. — Н. Епифанова. — Н. Исцеленова, — Н. Кнорринга. — В. Кудрявцева. — Ф. Махина. — Проф. В. Мякотина. — В. Немировича-Данченко. — Проф. А. Поспишиля. — Д. Позднякова. — А. Пешехонова. — Проф. Степанова. — Проф. В. Стратонова. — М. Слонима. — В. Сухомлина. — С. Тюрина. — И. Тутышкина. — А. Фовицкого. — А. Цвикевича. — Проф. М. Циммерманна. Проф. А. Эйхенвальда и др.

СОДЕРЖАНИЕ:

Календарь солнца. — Календарь планет на 1926 год. — Календарь периодических комет и роев метеоров. — Календарь луны на 1926 год. — Земля. — О жизни на соседних мирах. — месяцесловы. православный нов. и стар. стиля, католический, протестантский, магометанский, еврейский. — Алфавитный список святых. — Общий отдел. — Союз Советских Социалистических Республик (СССР). а) Границы и административное разделение, б) Государственное устройство; Государственный бюджет Советской России. — Эстония. — Латвия. — Литва. — Польша. — Бессарабия. — Королевство Сербо-Хорвато-Словенское. — Болгария. — Чехословакия. Подкарпатская Русь. Чехословацкая эмиграция в России. Русские в Чехословакии. — Русские в Германии. — Р. во Франции. — Р. в Бельгии. — Р. в Англии. — Р. в Италии. — Р. в Швейцарии. — Наши в далях. — Русские в Африке. — Р. на Филиппинах. — Р. на Аляске. — Р. в Китае. — Р. в Корее. — Р. и др слав. народности в С. Америке. — Зарубежная Украина — Единицы измерения. — Объявления. — Проценты, векселя. — Православный календарь старого стиля.

„PLAMJA“ Praha II. Ječná 32.

Tchécoslovaquie

Цена **50 ам. центов** с пересылкой.

Первое издание распродано.

NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ

PLAMJA, s. s r. o. PRAHA II.,

Ječná 32

doporučuje svým nákladem vydané spisy:

MORKOVINOVÁ B.
ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK..... Kč 45·—

Dr. KUDELA J.
O SLAVNÉ BITVĚ U ZBOROVA „ 3·50

Dr. KUDELA J.
O RUSKÉM ZLATÉM POKLADĚ A ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍCH..... „ 3·—

PULDA JAR.
TAŠKAŘINY..... „ 8·—

Dr. SEDLÁK J. V.
JOSEF THOMAYER, studie literár. „ 9·—

ALLAIS.
KAPITÁN KAP, váz. ..... „ 10·—

HAVLÍČEK K.
TYROLSKÉ ELÉGIE, illustrov... „ 4·—

LONDON J.
VLKŮV SYN, s leptem K. Hojdena „ 15·—

NERUDA JAN.
MALOSTRANSKÉ POVÍDKY, váz., s litografiemi A. Wierera .. „ 35·—

Učebnice ruštiny, všech slovan. jazyků a slovníky. Knihy o Rusku a Ukrajině. — **Vydavatelství a největší sklad ruské literatury v ČSR.**

Podle ujednání expedujeme též na splátky. — Žádejte naše katalogy české i ruské literatury zdarma. — Veškeré naše publikace na skladě má každé knihkupectví, jakož i

NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ

PLAMJA, s. s r. o. PRAHA II.

Ječná 32 — Telefon 9416

NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ

PLAMJA, s. s r. o. PRAHA II.,

Ječná 32

upozorňuje přátele umění na právě vydané umělecké dílo ceny trvalé

LIDOVÉ UMĚNÍ PODKARPATSKÉ RUSI

150 barevných i černých illustrací Kč 580·—

Podle dohodnutí též na splátky.

Každý, kdo chce být informován o současném slovanském umění, odebírá všeslovanskou uměleckou revui

UMĚNÍ SLOVANŮ

Český a franc. text

Vychází 6-krát za rok. Sešit Kč 15·—

BLOK A.

DVANÁCT, illustrováno

Revoluční báseň ..... Kč 15·—

KURZ A.

KYTICE starší i novější ruské

poesie ..... „ 10·—

vázaná „ 23·—

KALLINIKOV J.

OHLAS VESNIC, ruské pohádky „ 20·—

KRAŠENINNIKOV N.

UMÍRAJÍCÍ BAŠKIRSKO ..... „ 18·—

BANDROWSKI J.

NEPŘEMOŽITELNÉ PRAPORY „ 23·—

MIOMANDRE FR.

DOBRODRUŽSTVÍ TEREZY BEAUCHAMPS ..... „ 10·—

MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ.

A. BLOK ..... „ 15·—

Na skladě v každém knihkupectví.

КОПИРОВАНИЕ
29.10.02
КОПИРОВАНИЕ
4.03.04.

ORBIS